

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

СИБИРИАДА

ВЕЧНЫЙ ЗОВ



Том 1

Сибиряда

Анатолий Иванов

Вечный зов. Том 1

«ВЕЧЕ»

1971

Иванов А. С.

Вечный зов. Том 1 / А. С. Иванов — «ВЕЧЕ»,
1971 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-5314-8

Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью...

ISBN 978-5-4444-5314-8

© Иванов А. С., 1971

© ВЕЧЕ, 1971

Содержание

Пролог	6
Часть первая. Братья	45
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Анатолий Иванов

Вечный зов, том 1

© Иванов А.С., наследники, 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Пролог

В один из июньских дней 1908 года в следственной камере при Томской жандармерии находились двое – сам следователь господин Лахновский, человек лет тридцати пяти, с жирным тупым носом, и старший надзиратель Косоротов, мужчина неопрятной наружности, с выпирающими челюстями.

Следователь, в нижней рубашке, за рабочим столом пил чай. Было жарко, его форменный китель болтался на спинке стула. Косоротов прислуживал, через руку у него висело полотенце, и вообще он походил на трактирного полового.

Лахновский поставил пустую чашку на поднос и сказал:

– Слышал я, братец, о твоём рапорте начальству. В Александровский централ просишься?

– Мечта, ваше благородие. С малых, юных лет.

– Мечта – это хорошо. Мечта у человека исполняться должна.

– И вы, ваше благородие, подсобить обещали, ежели отличусь.

– Да-да, я походатайствую. Жалко тебя отпускать, но за усердие и преданность надо поощрять. – Лахновский отодвинул поднос с чайной посудой. – Ну-с, давай опять с твоих новониколаевских земляков начнем... Как тебе удалось выследить их?

– А я, Арнольд Михалыч, стал быть, в иллюзион шел. А когда иду по улице – всегда смотрю: что, где, как? Гляжу – с переулка впереди меня вывернулись двое. И пошли, пошли, скоренько так. Что-то, думаю, не так... А тут один оглянулся. Меня и вдарило: Полипов Петька, земляк! А с ним кто же? Так и есть, Антошка Савельев! Обоим в девятьсот пятом – девятьсот шестом годах еще в Новониколаевской тюрьме сидели, когда я там надзирателем служил. Что, думаю, в Томске им надо? Я свисток...

– Ладно, молодец. Веди по одному.

Лахновский накинул китель, закурил. Дымок от папиросы потек на улицу через открытую форточку зарешеченного окошка.

Минуты через полторы Косоротов толкнул из коридора Антона Савельева. Антон был в помятом пиджаке, из-под фуражки свешивался белесый чуб. Светлые глаза глядели на следователя угрюмо и враждебно.

Лахновский, попыхивая папиросой, подошел, усмехнулся, кивнул на стол, где лежали две серые тощие папки:

– Я запросил из Новониколаевского жандармского отделения ваши с Полиповым личные дела. Ну-с, и теперь будете запираяться?

* * *

Антону Савельеву около месяца назад исполнилось восемнадцать. И в этот день была свадьба, он женился на Лизе Захаровой, единственной дочери новониколаевского социалиста Никандра Захарова, погибшего в марте 1905 года при побеге из Александровского централа.

Родился и вырос Антон в деревушке Михайловке Шантарской волости, которая находилась верстах в полуторах от Новониколаевска. Его отец, Силантий Савельев, был, как говорили в Михайловке, «беднее поповой собаки». Что значило это выражение, Антон понять никогда не мог, потому что в Михайловке ни попа, ни церкви, а следовательно, «поповой собаки» не было.

Антон рос хулиганистым. Часто колотил меньших братьев – Федора и Ваньку, держал в жестоком страхе всех Михайловских ребятишек. Каким бы вырос Антон – неизвестно, но

весной 1904 года в Михайловку приехал из Новониколаевска младший брат Силантия, плотник Митрофан.

– Возьми-кось, Митрофан, Антошку хучь на время в город, а? – попросил его старший брат. – Можя, ремеслу своему его обучишь. А то мы тут с маткой никак управы на него не найдем, спортится парнишка до края. С конокрадами вот, слышно, дружбу свел, в карты они его приучили играть.

В Новониколаевске Антону понравилось, но учиться плотницкому делу он не стал. Целыми днями болтался по улицам города, перезнакомился с городскими хулиганами, играл с ними в карты, наловчился обчищать карманы валявшихся у пивнушек мужиков, за что не раз бывал жестоко бит. Неожиданно все дела эти бросил, пристрастился ловить птиц в окрестных лесах, которых и стал продавать на рынке или менять на пряники сыну соседского лавочника Петьке Полипову. Сам Антон сладостей не любил – отдавал тонконогой Лизке, «дочке каторжника», как ее называли все вокруг.

Этой Лизке, худой, как скелет, с острыми коленками и длинными черными бровями девчонке, было лет четырнадцать. Она жила на той же улице, что и дядя Митрофан, мать ее, вечно кашляющая, видимо чахоточная, работала где-то на мыловаренном заводе. Антона Лизка заинтересовала именно тем, что была дочерью каторжника. «Интересно, за что ее отца в каторгу загнали? – думал Антон. – Зарезал, наверное, кого?»

Как-то он спросил об этом у сына дяди Митрофана – Григория. Высокий, жилистый, большеглазый, Григорий работал в паровозном депо кочегаром, от него пахло всегда дымом и сажей, но он был веселым человеком, часто брал с собой Антона на рыбалку и вообще относился к нему дружески, как к ровне.

– Правду человек захотел поискать – вот и упекли на каторгу, – сказал Григорий. Внимательно поглядел на Антона и добавил: – Он, отец ее, социалист.

– Что ж это такое – социалист?

– Революционер, значит.

– А что такое революционер?

Григорий рассмеялся, подмигнул почему-то Антону.

– Интересно? Значит, как-нибудь узнаешь. Всему свое время.

Вскоре Антон узнал, что и Григорий, и дядя Митрофан, и даже его жена Ульяна Федорова тоже революционеры, хотя они это тщательно скрывали от него. А когда поняли, что Антону все известно, чуть не отправили его назад в Михайловку, к родителям. Особенно настаивала на этом тетя Ульяна. И его отправили бы, наверно, если бы не Григорий.

– Смотрю я на тебя, батя, и думаю: чего ты хочешь?! – схватился однажды Григорий со своим отцом. Взял со стола отобранную тетей Ульяной у Антона колоду карт, потряс ею в воздухе. – Ты хочешь, чтобы Антон и дальше шел по этой дорожке? А ведь чем дальше, тем оно глубже. Пойми, парень в таком возрасте, когда черт-те что хочется, небывалого чего-то! Так надо помочь ему!

Григорий, веселый, никогда не унывающий Григорий, который воспротивился отправлению Антона назад в Михайловку, в тот же день, буквально через полчаса, принимая на загородном полустанке от связного политическую литературу, был смертельно ранен жандармом, а вечером умер на руках Антона, сказав:

– Если пойдешь, Антон, правду искать, тебя ждут тюрьмы, каторги и, может быть, вот... такой конец... Пойдешь?

– Пойду.

– Не забоишься?

– Нет.

– И правильно...

– Я буду такой же, как ты!

– Я верю...

В тюрьме Антону впервые пришлось посидеть довольно скоро. И ему, и Лизе, и Петьке Полипову. Несмотря на то, что Петька был сыном довольно богатого лавочника.

С Петькой у Антона постепенно сложились дружеские отношения. Омрачало их дружбу только одно – оба незаметно как-то влюбились в Лизу. Чем покорила она Петьку, неизвестно, красивой Лизу назвать было нельзя. Красивыми были только ее глаза – зеленоватые, как речная вода, и вечно в них плескалось что-то беспокойное и живое. Антону же она понравилась своей отчаянной смелостью, хотя по ее виду заключить этого было нельзя. Нельзя-то нельзя, но тем не менее в свои четырнадцать-пятнадцать лет она не раз ездила в Томск, привозила оттуда запрещенную литературу и даже оружие.

Сама Лиза к Антону и Петру относилась всегда одинаково, и до самого последнего времени было неизвестно, кому она отдаст предпочтение. Шансы Полипова, как в душе считал Антон, были неизмеримо выше, особенно после выхода из тюрьмы. Всех их посадили в конце октября 1905 года – Антона, Лизу, Петьку, руководителя Новониколаевской организации РСДРП Ивана Михайловича Субботина, опытного революционера, совершившего за несколько месяцев до этого вместе с Лизиним отцом побег из Александровского централа. Друзья выправили Субботину документы на имя Кузьмы Чуркина, устроили на службу в Новониколаевске – посудомоем на тюремную кухню. Работая на кухне, Чуркин активно готовил побег политзаключенных. Во время октябрьской стачки, в тот день, когда железнодорожные рабочие, возглавленные после смерти Григория его отцом, Митрофаном Ивановичем, устроили небывалую политическую демонстрацию, тюрьму удалось разгромить. Но подоспевшие казачьи сотни и регулярные войска разогнали демонстрантов, а через несколько минут арестовали всех организаторов побега политзаключенных.

В этот день Чуркин-Субботин дал Антону и Петру Полипову настоящее боевое задание. Антон должен был с утра отправиться на глухой полустанок, получить там у старичка путейца сумку с патронами и к десяти утра доставить в условленное место в лесу за городом. Это был дополнительный боевой запас, который мог понадобиться. В случае надобности Петьке Полипову следовало эти патроны доставить в город, штурмовой группе. Полипов был гимназист, и ему легче было в своей гимназической форме пронести по улицам города патроны, не вызывая подозрений. Но Антон обиделся, что его не только не берут в штурмовую группу, но и патроны не доверяют нести в город. И поэтому прямо с полустанка он отправился к месту сбора этой группы.

Ух, как вскипел тогда Субботин, увидев такую недисциплинированность! А ведь патроны-то были нужны, Полипова Петьку он уже услал за ними в лес.

Следствие по делу организаторов демонстрации и налета на тюрьму велось долго, больше года. Арестованных содержали то порознь, в разных камерах, то всех вместе, подсаживая одновременно и провокаторов. Особенно досталось за это время Полипову. Его чаще других вызывали на допросы, частенько избивали, хотя истязание политических было запрещено. Для Полипова, видимо, делали исключение, надеясь, что изнеженный жизнью сын богатого лавочника не выдержит. Но он выдержал, он никого не выдал, сам Субботин сказал о нем:

– Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких.

Несмотря на скудные улики, им троим – Антону, Лизе, Петьке Полипову – дали по два года. Митрофану Ивановичу – два с половиной, Чуркину-Субботину же, как беглому политзаключенному, – восемь лет каторги. Но с этапа ему удалось бежать, он снова очутился в Новониколаевске, опять начал сколачивать разгромленную в 1905 году городскую организацию РСДРП.

По выходе из тюрьмы Антон устроился грузчиком на лесопилку. Лиза, как и прежде, относилась к Антону и Полипову одинаково. Мать Лизы, пока они сидели в тюрьме, умерла, Лиза с трудом поступила работать на ту же мыловарку. То Антон, то Петька часто встречали

ее у мыловарки, провожали домой. И однажды, чтобы покончить с неопределенностью, Антон решился на откровенный разговор. Говорить ему было трудно, но Лиза и не дала говорить.

– Не надо! Не надо! – воскликнула она и зажала ему рот жесткой ладонью. Потом ткнулась горячей головой в плечо.

– А... а как же Петька? – задал он глупый вопрос.

– А что Петька?! Он хороший, наверно. Но... не знаю. Не лежит и никогда не лежало у меня к нему сердце. Он грамотный, а я... Ты ему сам скажи. Чтоб не встречал больше...

И Антон сказал. Петька выслушал все молча, круглые щеки его налились густой кровью, засинели, на правой щеке заходил тяжелый желвак, и правый же угол рта дернулся.

...Свадьбы, как таковой, у Антона с Лизой, можно сказать, и не было. В теплый майский вечер он увел Лизу за город, в лес, там они построили шалашик и провели в нем свою первую хмельную ночь. Антон был пьян от счастья, от запаха цветущей черемухи. Этот запах он почувствовал еще вечером, выходя из города. В теплом синеватом воздухе бесшумно носились ласточки, то взмывая стремительно вверх, то припадая к самой земле. И в голове неизвестно откуда явились сами собой и зазвенели четыре стихотворные строчки:

Над городом запах черемух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь,
И ласточки, ласточки – быстрые птицы —
Пронзают небесную синь...

Антон даже испугался. Никогда никаких сочинительских талантов он в себе не чувствовал и знал, что таковыми не обладает. И вот тебе на – сочинил! Строчки эти всю ночь звенели в голове, а к утру неожиданно сложился еще один куплет:

И ежели в сердце тоска застучится —
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь...

Антон вовсе обомлел.

Когда сквозь дыры в шалашике ударило солнце, Лиза заметила необычность поведения Антона, в ее глазах плеснулось беспокойство.

– Что с тобой?

– Ничего, – смутился Антон и поднялся, вышел на воздух.

Вышла и она. Лесная поляна была залита свежим солнечным светом и звоном птичьих голосов. В этом свете и в этом звоне, собирая ромашки, ходила по поляне Лиза, в белой кофточке, с распущенными волосами. Увидев Антона, она бросилась к нему, закружила его, выкрикивая:

– А я твоя жена! А я твоя жена!

Они упали в мягкую траву и опять принялись целоваться, будто им не хватило на это ночи.

Потом разожгли костер и стали кипятить чай. Глядя на огонь, Антон сказал:

– А знаешь, Лиза, я стих сложил... для тебя.

– Иди ты... – не поверила она. – Как сложил?

– Не знаю. Вот, слушай.

Он проговорил эти восемь строчек торопливо, краснея. Лиза слушала, глаза ее раскрывались все шире.

– Это ты... неужели сам?

- Сам.
- Для меня?
- Ага.

Лиза притихла, им обоим стало неловко будто. И вдруг она замурлыкала, укладывая только что услышанные слова в простенькую мелодию, и пропела их все, не пропустив ни одного.

– Антон! Антон! – вскричала она, кончив петь, прижалась к нему и, счастливая, заплакала.

Вскоре пришла тетя Ульяна, принесла корзинку с едой, несколько бутылок вина. На траве расстелили скатерть, разложили скромное угощение. По одному, по двое стали подходить гости: сперва молчаливый Петька Полипов, потом несколько рабочих из депо, с лесопилки, с мыловарки, из типографии – все члены подпольного городского комитета РСДРП. Последними появились дядя Митрофан и Субботин. Как положено, крикнули: «Горько!» Полипов сидел чуть в сторонке, сжимая в руках граненый стакан. Антон и Лиза, смущаясь, целовались. И все выпили, только Полипов не пил, все сидел, сжимая стакан. Потом резко вздернул руку, выплеснул в рот вино. Но на его поведение никто не обратил внимания, потому что Субботин чуть выпрямился и сказал:

– Товарищи, друзья мои, не будем терять времени. Заседание подпольного городского комитета РСДРП считаю открытым. Вопрос один – об организации нелегальной рабочей газеты...

* * *

– Ну-с, так как же, будете говорить? – повторил следователь Лахновский свой вопрос.

За спиной Антона, за закрытой дверью, затихли удаляющиеся шаги. Еще там, в Ново-николаевской тюрьме, Антон научился по звуку отличать шаги Косоротова от шагов других надзирателей – тридцатилетний, он ходил тяжело и грузно, как старик, громко шаркая ногами.

– Вы бы поздоровались сперва, – сказал Антон.

– С какой целью прибыли в Томск?

– Я же говорил – я женился, приехал снять квартиру, чтобы провести в Томске медовый месяц. Полипов мой друг, он помогал мне в поисках квартиры.

– Вы приехали, чтобы восстановить преступные связи с томскими социалистами.

Антон пожал плечами.

Лахновский закурил новую папиросу.

– Советую говорить правду. Ваш так называемый друг Полипов во всем сознался.

– Давайте очную ставку, проверим. Ему не в чем сознаваться. За незаконный арест ответите. Я буду жаловаться.

– Жаловаться? – Следователь подошел вплотную. И вдруг обхватил Антона за шею, поднес к самому лицу папиросу, намереваясь ткнуть в глаз. – Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?

Антон отклонял голову, пока можно было, одновременно пытаясь вырваться. Но следователь был силен. Тогда Антон схватил Лахновского за руку, крутанул ее. Следователь выпустил шею Антона, присел от боли, застонал. Этот стон придавал Антону еще больше ярости, он, не соображая, что делает, размахнулся и сильно ткнул кулаком в мясистый подбородок. Лахновский отлетел к столу, роняя с плеч китель.

– Косоротов! Стража-а! В карцер подлеца!

Жандармы уволокли Антона. Косоротов прыгал вокруг Лахновского:

– Ваше благородие, да как же? Примочечку, может?.. Из квасцов...

– Какие квасцы, болван?! Давай другого, Полипова этого...

В отличие от Савельева Полипов был подавлен и хмур. Он привалился устало к стене и стал тупо глядеть в зарешеченное окошко. Круглые щеки его одрябли, опали, веки припухли, было видно, что он плохо спал, а может быть, вообще не спал несколько ночей.

– Ну-с, здравствуйте. – Лахновский застегнул китель на все пуговицы, сел за стол. – Снова будем записаться? Садитесь. С какой целью прибыли в Томск?

– Я уже говорил... – вяло ответил Полипов, усаживаясь на стул. – Мой друг решил провести в Томске медовый месяц. Я приехал помочь ему подыскать квартиру.

– Придумали бы что-нибудь поумнее, – поморщился следователь. – Где это видано, чтобы простой рабочий имел понятие о медовом месяце, да еще отправлялся в свадебное путешествие?

Да, ввалили они неубедительно. После женитьбы Антона Полипов с ним почти не разговаривал, и в Томск они ехали будто виноватые в чем-то друг перед другом, потому и не договорились, как вести себя в случае провала. Только в последнюю минуту, когда раздался свисток Косоротова, Полипов крикнул Антону о медовом месяце и о квартире – первое, что пришло в голову. И вот теперь и он и Антон вынуждены были объяснять свое пребывание в Томске этой причиной, чтобы не запутаться окончательно.

Лахновский некоторое время внимательно смотрел на арестованного, усмехнулся.

– Слушайте, Полипов. Давайте говорить откровенно. Какого черта вас, сына уважаемого в нашем обществе человека, потащило к социалистам, бунтовщикам? Что вас там, среди этой грязной, неимущей толпы, привлекает?

Полипов молчал, все так же опустив голову. Лахновский встал.

– Ну хорошо, я понимаю: хмель молодости, романтика борьбы за так называемую справедливость. Чернышевского, наверное, читались, Герцена, Плеханова... Но теперь вы вполне взрослый человек. Теперь вы можете рассуждать. Для чего вам эта справедливость, если у вашего отца, а стало быть, и у вас отнимут торговлю, дом, деньги?

Руки Полипова лежали на коленях, короткие пальцы чуть подрагивали. Лахновский заметил это.

– Вы уже бывали в наших руках, но отделались, как говорится, легким испугом. Из уважения к вашему отцу... и надеясь, что вы поймете, с вами были, как я заключил из вашего личного дела и рассказов бывшего служащего Новониколаевской тюрьмы Косоротова, не очень строги. Вы что же, снова хотите оказаться в тюрьме, опять испытать человеческое унижение, оставить в тюремной камере лучшие свои годы, а может быть, здоровье, жизнь? Вы будете заживо гнить, а там, за тюремными стенами, солнце, свет, вино, женщины. Да, и женщины, черт побери! А революция давно задушена, разгромлена! И пора бы понять – навсегда.

Лахновский остановился возле Полипова, опять закурил.

– Вы женаты?

– Нет, – коротко ответил Полипов.

– Невеста есть?

– Нет. Была, как я считал. Теперь нет.

– Изменила?

– Замуж вышла за другого! Если вы такой любопытный.

– За кого?

– За черта! За дьявола! – вскипел Полипов. – Ваше какое дело?

Лахновскому нельзя было отказать в наблюдательности, в умении понимать душевное состояние своих подследственных.

– Пойдите, пойдите, – раздумчиво произнес Лахновский. – А не за этого ли вашего друга она...

У Полипова дернулся уголок рта, он отвернулся.

– Тэ-экс... Значит, и любимую женщину они у вас отобрали? Примечательно-с! И вы – отдали? Отдали без борьбы, как самый последний... И не попытались ее вернуть, отвоевать?

– Перестаньте! – крикнул Полипов.

Лахновский не зря был на хорошем счету у начальства. Не давая опомниться Полипову, он обхватил его, как Антона, за шею, поднес горящую папиросу к самому носу, угрожая ткнуть в глаз, зарычал:

– Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?!

Полипов дернулся, закричал. Следователь выпустил его.

– Так вы не хотите попытаться вернуть... любимую женщину? – спросил Лахновский, разглядывая огонек своей папиросы. – Хотя бы с нашей помощью? Или уже разлюбили ее?

Стоя у стены, Полипов никак не мог унять дрожь.

– Что я... должен... для этого сделать? – Голос его рвался.

– Сказать, зачем вы приехали в Томск.

Полипов сунул кулаки в карманы, вынул, снова спрятал.

– Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?

Это он проговорил с хрипом, отворачиваясь. Даже на следователя ему глядеть было стыдно.

– Смотря по тому, с какой целью он приехал в Томск. Во всяком случае, лет на пять-семь упрячем надежно.

И вдруг Полипов, лихорадочно оглядывая почти пустой кабинет, застонал:

– Нет, нет! Я все наврал... Я все наврал!

Лахновский улыбнулся широко, открыто, почти по-дружески.

– Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?

Полипов обмяк, съёжился.

– Вот именно, – сказал следователь утвердительно. – Я всегда уважал людей, умеющих взять себя в руки. И так?

– При одном условии – я вне подозрения. – Полипов не глядел на следователя. – Иначе игра не стоит свеч.

– М-м... При одном условии и с нашей стороны. Мы сажаем вас на несколько месяцев в тюрьму. Необходимость этого, надеюсь, вы понимаете. Сажаем в камеру с политическими. Вы должны нас постоянно информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя местное охранное отделение о всех ее делах...

– Довольно! Кончайте... – Полипова всего колотило.

– Прошу вас, садитесь. – Лахновский пододвинул ему стул, сел сам, положил перед собой лист бумаги. – Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение? И конечно, с какой целью прибыли в Томск?

– Мы прибыли за недостающим оборудованием для подпольной типографии, – глухо начал Полипов. – Типография устроена под домом по адресу...

Когда Полипов, выложив все, замолчал, Лахновский еще некоторое время писал. Кончив, он поднял голову, поглядел на уныло сидевшего напротив Полипова. На секунду в глазах следователя мелькнуло брезгливое выражение и пропало.

– Знаете, о чем я подумал? – спросил он. – К чертовой матери эту охранку, рано или поздно вы провалитесь, если будете иметь дело с ней. Мы сделаем так: я дам вам адрес и шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России. Старайтесь, Полипов, и вы далеко пойдете...

* * *

В декабре 1912 года по самому мрачному, северному коридору Александровского централа с тяжелой связкой ключей на широком ремне, в сопровождении двух младших надзирателей, шел не торопясь Косоротов, заглядывая в глазок каждой камеры, проверял запоры. Вдруг он заметил, что у одного из его подчиненных плохо заправлена под ремень рубаха-форменка.

– Т-ты, лапоть! – нахмурился Косоротов. – Рохля деревенская! Брюхо вывалится!

– Виноват, ваше благородия! – вытянулся надзиратель, молодой парень лет двадцати.

– Гм... Хучь я и не достигнул до благородия пока... – помягчел Косоротов, – а чтоб при моем дежурстве – как огурец! – И, снова распаляясь, загремел на весь коридор: – Ты где службу несешь? В Александровской центральной каторжной тюрьме ты службу несешь! Ты кого надзираешь? Главных российских преступников-политиков ты надзираешь! Которые имели по несколько побегов.

– Из новеньких он, ваше благородие, – вступился за молодого другой надзиратель, мужик по виду тоже деревенский, с поседевшими усами. – Исправится он.

– Присылают тут всяких... – несколько остыв, проворчал Косоротов. – Опосля смены зайдешь ко мне в дежурку. Как фамилия?

Фамилию молодой надзиратель сообщить не успел, потому что в конце коридора грохнула железная дверь, зазвенели шпоры, застучали о пол кованые сапоги.

– Дежурный! – раздался зычный голос. – Принимай заключенного!

Косоротов рысью побежал в конец коридора.

Через несколько минут он вернулся, радостно суетясь вокруг обросшего густой бородой человека, закованного в кандалы:

– Да милый ты мо-ой! Привел-таки господь еще раз свидеться!

– Здравствуй, здравствуй, земляк, – говорил заключенный, тоже улыбаясь. Он шел по коридору не торопясь, устало, поддерживая тяжелые цепи, явно наслаждаясь душным и влажным тюремным теплом.

– Счас камеру тебе! Поменьше, подушнее, – все с той же радостью суетился Косоротов. – Как жил-то, землячок мой хороший?

– А ничего жил, чего там обижаться. Из киренской ссылки сбежал, из акатуйской каторги сбежал. Недавно с Зерентуйской тюрьмой познакомился. Не понравилась что-то, тоже пришлось сбежать.

– Намыкался-то, родимый...

– А ты, значит, достиг-таки своей мечты?

– Дак старался.

– Пофартило тебе в жизни. Ишь в каких хоромах начальствуешь. Не то что наша новониколаевская развалюха.

Заключенный был Антон Савельев. За эти годы он возмужал, раздался в плечах. Коротко остриженные волосы на голове только стали вроде еще белесее, да большой открытый лоб прорезали две неглубокие морщины.

Косоротов все смотрел и смотрел с улыбкой на Антона.

– Господи, да что же я стою, рохля! С дороги-то приморился. Давай сюда, родимый. – Косоротов отомкнул одну из камер. – Самая темненькая, самая сыренькая.

– Спасибо. Вот уж спасибо.

– Чего там, земляки все же.

– Извиняй за беспокойство, да я ненадолго.

– Сколь уж погостишь из милости. Прогонять не будем.

– А сколько будет дважды два?
– Так четыре вроде.
– Вот месяца через четыре, по весне, я и сбегу. Сейчас холодно, да и отдохнуть надо.
– Такой же все веселый ты человек, хе-хе! – совсем растаял Косоротов в улыбке. А потом начал суроветь: – Давай, давай, давай!

Втолкнув Антона в камеру, он замкнул ее, перекрестился истово, и опять мелькнуло на его лице что-то вроде улыбки.

– Ведь и нашего брата-тюремщика не обделяет господь радостями...

Вдруг Антон изнутри сильно застучал в дверь. Косоротов открыл окошечко.

– Что тебе? Камерка не поглянулась?

– Что ты, камерка отличная. Совсем ведь радостью-то я забыл поделиться с тобой. У меня же сын родился. Сы-ын!!

* * *

Белочешский мятеж в Новониколаевске начался в ночь на 26 мая 1918 года.

В этот день член Томского губернского исполкома Совета депутатов Антон Савельев возвращался поездом из Москвы, со съезда комиссаров труда.

Губернским комиссаром Антона избрали несколько месяцев назад. Он уехал в Томск один, оставив пока Лизу с сыном Юркой в Новониколаевске. Еще по дороге в Москву он написал письмо, в котором сообщил, что устроился наконец в Томске с квартирой и на обратном пути заберет с собой Лизу с сыном. А выехав из Москвы, дал телеграмму, чтобы Лиза с вещами была на вокзале вечером 26 мая.

Получив письмо, Лиза, работавшая секретарем в уездном Совете, попросила освободить ее от службы и весь день с утра 26 мая укладывалась.

Станция Новониколаевск была забита эшелонами с пленными чехословаками, которые по разрешению Советского правительства возвращались к себе на родину через Владивосток. Из вокзала, хлопая дверьми, то и дело выбегали офицеры. Мокрый, не просохший еще после недавно прошедшего дождя красный флаг на крыше вокзала слабо трепетал, как крыло подбитой птицы. Когда стемнело, на привокзальной площади, тускло освещенной электрическими фонарями, появился хмурый, худосочный человек в кожанке, с тонким, как щепка, носом, в сопровождении дюжины вооруженных красногвардейцев.

Навстречу вывернулся патруль, и толстый чешский офицер, подбегая, закричал:

– Куда? Нельзя! Назад!

– Со специальным заданием, – вяло сказал человек в кожанке и подал чеху бумажку.

Чех долго читал, подсвечивая себе фонариком. Потом протянул несколько удивленно:

– О-о! Подпись господина Гришина-Алмазова! Но в вокзал нельзя, там совещание. Сигарету, господин Свиридов?

Свиридов от сигареты отказался.

Минуты три спустя на площади появился Полипов, тоже в кожанке, тоже мрачный, смятый какой-то.

– Ну? – спросил он, подойдя к Свиридову.

– Приказ чешским войскам отдан по всей магистрали, – глухо проговорил Свиридов. – В городе через полчаса будут захвачены почта, телеграф, пристань, уездный Совет, Чека, уком... Однако зачем вы здесь? Уходите.

Впервые Свиридова Полипов увидел в Новониколаевской тюрьме в 1906 году. В то время Свиридов был членом Томского комитета РСДРП, сплошь состоявшего из меньшевиков, и в камере яростно спорил с Субботиным на политические темы. А Митрофан Иванович Саве-

льев, слушая эти споры, сказал однажды: «Знаешь что, Свиридов? Годиков через пять... а может быть, раньше даже, ты станешь платным осведомителем царской охранки».

С тех пор Полипов Свиридова не видел, но знал, что по выходе из тюрьмы он порвал с меньшевиками, примкнул к большевистскому крылу РСДРП, а после победы Советской власти оказался в Новониколаевске в качестве комиссара небольшого красногвардейского отряда.

– Что это низко так упали, Свиридов? – пошутил тогда Полипов.

– А вы, смотрю, высоко взлетели, – неприязненно ответил Свиридов. От него сильно пахло водкой.

После установления Советской власти в Новониколаевске Полипов состоял членом Ревтрибунала. Лахновский с самой Февральской революции вестей о себе не подавал, Полипов, разумеется, не разыскивал его, думал иногда с затаенной надеждой: может быть, погиб где в этой мясорубке? Хорошо бы... Но совсем недавно Свиридов встретил его случайно на улице, пригласил к себе домой. И там, выпроводив жену и дочь – девочку-подростка лет тринадцати – на кухню, без обиняков сказал, морщась и поглаживая живот:

– Советской власти осталось существовать не много, самое большее – с неделю. В Новониколаевске давно создано подпольное Временное сибирское правительство, оно собирает силы для решительного удара. Нам помогут чехословацкие войска. Я все откровенно вам говорю, потому что... В общем, говорю с вами по поручению Лахновского. Бывший следователь Лахновский мой хороший знакомый... к сожалению.

– Кто же вы? – изумился Полипов.

– Мы, конечно, попытаемся враспloh захватить кого надо, – вместо ответа проговорил Свиридов. – Но сразу всех арестовать вряд ли удастся. Поэтому... В общем – скрывайтесь сами, но особенно следите, где будут скрываться другие. Эти сведения, даже самые предположительные, будут для нас очень важны, как вы понимаете. Связь будете держать только со мной, как вы держали ее с Лахновским.

– Но где же... сам Арнольд Михайлович?

– Пока сидит в Томской тюрьме.

И так, о нем, Полипове, не забыли, ему снова отводилась его роль.

...Последние группы чехословаков ушли с привокзальной площади. Мирно, даже как-то уютно светились невысокие окна вокзальчика. Ничто не предвещало, что буквально через несколько минут в городе начнется кровопролитие.

– Я спрашиваю, что вы болтаетесь тут? – зло спросил Свиридов Полипова.

– Лиза... Что будет с Лизой? Я вижу, вы ждете московского поезда, вы хотите арестовать Антона, о котором я вам сообщил... Но Лиза... Не трогайте ее, очень прошу...

– Нервы, товарищ Полипов, – усмехнулся Свиридов. – Вы все еще не оставили надежды? А пора бы.

Да, пора бы. Десять лет прошло со времени ее замужества, сын у Лизы уже большой. Со дня свадьбы едва ли год-полтора в общей сложности жила она с Антоном – остальное время он проводил в тюрьмах, побегах, снова в тюрьмах. Февральская революция освободила его из забайкальских каторжных рудников, а после Октября он уехал в Томск. И смешно Полипову было иногда, и горько: на что надеялся десять лет назад, когда решился на предательство? И все-таки до сих пор не может оставить своей надежды. Сам давно понимает, что все это несбыточно, а не может. И до сих пор живет холостяком, неуютной, неприкаянной жизнью, один как перст в огромном и гулком отцовском доме. Где отец с матерью, живы ли они – Полипов не знал. После национализации городского банка, в котором отец держал, видимо, значительные ценности, он поскутнел, осунулся, согнулся. И в январе 1918 года, бросив дом и пустые лавки, исчез вместе с матерью из города, отправив по почте сыну письмо: «Будьте вы прокляты все... А ты, любезный сынок, в первую очередь...»

Полипов был рад даже, что отец поступил таким образом, вздохнул с облегчением. Рано или поздно ему пришлось бы что-то предпринимать в отношении родителей. А теперь, если переворот удастся, родители вернутся, узнают о нем всю правду, отец возьмет назад свое проклятье.

Свиридов нервно поглядывал на часы. Невдалеке раздался паровозный гудок, на стрелках застучали колеса подходящего поезда.

Из ближайшего переуллка, из темноты, послышался детский голос:

Мы свободу свою добывали
Не мольбой, а штыком...

Полипов сразу узнал – это Юрка, сын Лизы. И через несколько секунд он появился сам – в чистой, отутюженной рубашке, с приглаженными лохмами волос, а следом Лиза и Ульяна Федоровна с узлами и чемоданами.

– Петр! – воскликнула Лиза. Глаза ее обеспокоенно поблескивали. – Спасибо, что пришел Антона встретить.

– Я тебя пришел проводить...

– Что происходит в городе? По улицам маршируют колонны чехословаков.

– Ничего особенного, – подал голос Свиридов. – Они пошли на помывку в баню.

Ульяна Федоровна опустила на землю тяжелый узел.

– Господи, и Митрофана чего-то нету... Ведь обещал подойти. Так и не вылезит из этой своей Чеки, пропади она пропадом.

Бывший плотник, Митрофан Иванович Савельев после Октября работал в Чека, дома почти не ночевал. Последние несколько дней он вообще в семье не появлялся, сегодня после обеда сообщил через посыльного, что придет на вокзал повидаться с племянником.

– Лизавета, чего стоим-то? – вновь схватила за узлы Ульяна Федоровна. – Кажись, поезд уже пришел.

– В вокзал нельзя, – сказал Свиридов. – Антон сам сюда придет.

– Это как нельзя? – Ульяна Федоровна взглянула на Свиридова. – Ты кто таков?

Свиридов отвернулся. Полипов торопливо схватил Лизины руки.

– Что ж, до свидания... Что ж... желаю счастья.

Ладони Полипова были горячими, потными, мелко дрожали. Он дернул уголком рта и, не оглядываясь, быстро ушел в темноту.

Дальнейшее произошло в несколько минут. Сперва на перроне послышались галдеж, крики, какие-то команды на чужом языке. Потом через калитку повалили толпы пассажиров.

И вдруг где-то близко от вокзала, в городе, вспыхнула стрельба, но тотчас смолкла.

– Что это? Что это?! – закричала, бледнея, Лиза.

– Ничего особенного, – ухмыльнулся Свиридов. – Наши люди расстреливают своих врагов.

– Каких врагов? Какие люди? И вы действительно кто такой? Я вас где-то видела, кажется. Свиридов не ответил.

Антон появился неожиданно, вывернулся из толпы.

– Лиза! Сынок! – Он подхватил Юрку, поднял, прижал к себе. Потом обнял жену. – Лиза, Лиза! Что у вас тут происходит? Почему стреляют? Что здесь происходит?

– Ничего особенного, – ответил Свиридов, подходя к Антону. – Уничтожают Советскую власть.

– Вы, Свиридов? – Антон отступил на шаг. – Что вы сказали?

Свиридов еще медлил какие-то секунды и сказал вяло, как бы нехотя:

– Взять его. Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай.

* * *

Белочешская контрразведка зверствовала в городе всюю. В лесу за речкой Каменкой день и ночь шли расстрелы.

После переворота прошло три недели. Полипов жил в подвале окраинного домика, принадлежавшего пожилому новониколаевскому извозчику и старому члену РСДРП Василию Степановичу Засухину, в город почти не выходил.

– Проворонили! Всю Советскую власть проворонили, – каждый вечер говорил Засухин, принося Полипову еду. – Считаю, всю городскую парторганизацию вырубил.

– Не всю. Мы вот с тобой еще живы. Субботин, говоришь, на воле, – возражал Полипов. – Свяжи меня с Субботиным. Надо же что-то делать.

Засухин молчал, сидел на табурете, опустил голову, дымил табаком, отравляя и без того затхлый воздух подвала.

Субботин сам появился однажды в подвале – обросший за три недели, в растоптанных сапогах, в стареньком картузе, какие носили обычно городские извозчики.

– Жив? – спросил он, здороваясь. – И хорошо. Мало нас осталось. Мы ввели тебя, Петр, в члены подпольного горкома.

– Наконец-то! – вздохнул Полипов. – А то думал, так и прокисну здесь.

– Ну, киснуть теперь некогда. Надо собирать остатки наших сил, надо фактически начинать все заново. И мы начнем. Мы тысячу раз начнем все заново! А Свиридов-то каков?! Я никогда не верил, что он искренне порвал с меньшевизмом. В бытность Свиридова в Томске там провал следовал за провалом. Сколько наших хороших товарищей погибло! Теперь ясно, чьих рук дело. И вот логический финал – следовательно в белочешском застенке теперь. Старается. Антона Савельева, имеем сведения, особенно зверски истязает. И жену его.

– Лизу? Живы они? – Полипов был бледен, голос его пересох.

– Пока живы, кажется. А Митрофан Иванович погиб... – Субботин встал. – На днях собраться надо всем, поговорить кое о чем.

– Когда и где?

– Нетерпеливый какой!

– Надоело сидеть в этой яме.

– Василий Степанович вот скажет, когда и где. Ну, рад я был повидать тебя, Петро.

... Через несколько дней, глубокой ночью, выбирая переулки поглуше, Полипов торопливо шел в сторону вокзала, где в крепком особняке с дубовыми ставнями жил Свиридов.

Открыла ему жена Свиридова, полная женщина с заплаканными глазами. Полипов рассчитывал увидеть возле дома какую-то охрану, но охраны не было, и дверь открыли сразу, без всяких предосторожностей, едва он сказал, кто ему нужен. Все это показалось Полипову странным.

Сам Свиридов лежал на кровати в брюках и нижней рубашке. Он был пьян, на столе стояли две бутылки, тарелка с огурцами.

– А-а, господин доносчик! – проговорил Свиридов. – Давно вас жду. Ну, какие новости? И тон и слова – все было непонятно Полипову, они испугали его.

– Подпольный горком собирается завтра... В доме наборщика городской типографии Корнея Баулина, по адресу...

– Хорошо, хорошо. Я знаю этого наборщика. Не хотите водки?

– Послушайте, Свиридов! Что все это значит?

– А что? – Свиридов опустил ноги на пол, но с кровати не встал.

– Вы пьете, как... как последний пьянчужка! Живете без всякой охраны, будто в мирное время. И вообще...

– Вообще-то не надо бы пить. Гастрит у меня. Кишки будто ножницами стрижет... – И он потер живот. – А охрана есть.

– Послушайте, – еще раз сказал Полипов. – Я пришел по делу, а вы пьяны, невменяемы! Извините, я в таком случае пойду... Я ничего не понимаю.

– Кулепанов!

Распахнулась дверь, ведущая в соседнюю комнату, на пороге появился белогвардеец, за ним еще один.

– Возьмите этого... этого... Отвести в наше заведение! Отделайте его там хорошенько и бросьте в одиночку, – сказал Свиридов, не глядя на Полипова. Подошел к столу и налил из бутылки в стакан.

* * *

Полипов действительно ничего не понимал. Его привели в здание контрразведки, жестоко, в кровь, избили и бросили в тесную камеру.

А потом про него, кажется, забыли. Старый знакомец Косоротов, служивший теперь здесь, носил ему раз в день вонючую баланду, убирал парашу. Он был молчалив, как камень, за все время не промолвил ни слова.

Однажды Косоротов повел его по длинному коридору и втолкнул в кабинет Свиридова.

Синяки с лица Полипова еще не сошли, правая, рассеченная бровь была распухшей, закрывала глаз. Стоя у порога, Полипов левым глазом оглядел довольно просторную комнату. Стол, у стены какой-то шкаф. Возле шкафа была еще одна дверь, обитая толстым серым войлоком.

Сам Свиридов в офицерском френче, но без погон, стоял у окна и уныло смотрел сквозь толстые решетки во двор. Испитое лицо его было землистого цвета, дряблые щеки обвисли, сухие, обшелушившиеся губы подрагивали.

– Может, все-таки объясните, что значит вся эта история со мной? – мрачно спросил Полипов.

– Антона Савельева ко мне! – вместо ответа проговорил Свиридов. – И жену его приготовь. Потом – сына.

– Слушаюсь. – Косоротов пошел, но у порога остановился. – Я, ваше благородие, упредить хотел... Она, Лизка Савельева, третий день пищи не берет. И вроде бы заговариваться начала.

– Веди же их, черт! – заревел Свиридов.

Когда Косоротов ушел, Полипов сделал шаг к двери.

– Нет, увольте... Я прошу.

– Сесть! – крикнул Свиридов, показав на стул у стены.

Подошел к шкафу, достал стакан и бутылку. Когда наливал, руки его дрожали, стекло звякало о стекло. Выпив, шумно вздохнул.

– Как вы думаете, Полипов, зачем живет человек? – неожиданно спросил он. – В чем смысл его рождения, его смерти? А? И вообще – в чем правда, истина, а в чем ложь?

– Нашли время и место о таких вещах рассуждать?

– Почему же? Всегда и время и место... если есть потребность к этому.

– Не знал, что вы такой философ. Я же не обладаю такими достоинствами.

– Да, да... Вы просто провокатор.

– Я где нахожусь?! – Полипов рванулся, встал. – Вы лучше скажите: накрыли вы подпольный горком партии?

– Зачем? – Свиридов пожал плечами. – Накроем один – появится другой. Бесконечная, бесполезная работа...

– Не понимаю. – Полипов сел, его била дрожь. – Или я сошел с ума, или... И замолк, потому что Косоротов ввел Антона.

Савельев похудел, глаза глубоко ввалились, кожа на щеках, на висках, на лбу была желтоватого цвета. Но следов истязаний видно не было. Чувствовалось только, что он смертельно устал.

Перешагнув через порог, Антон тревожно обшарил глазами кабинет.

– Здравствуй, Петр, – сказал он негромко. – И тебя выследили ищейки?

Сердце Полипова заledenело. Что, если Свиридов объяснит, каким образом его, Полипова, «выследили»? Но Свиридов только нервно усмехнулся одними губами.

Антон тяжело, как старик, подошел к столу и сел на стул, понюхал воздух.

– Опять пил, Свиридов?

В глазах у Свиридова блеснул лихорадочный огонек, стал разгораться.

– Не пойму я тебя, Свиридов, – продолжал Антон. – Вернее, кажется мне иногда – жжет тебя внутри какой-то огонь, остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой.

– Верно, угадал, хе-хе... – Смех Свиридова был сухой, деревянный.

– А потом подумаю: нет, какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до уровня скотины!

– И тут угадал, хе-хе... – И вдруг, зеленея, взорвался: – Угадал, да, да! Угадал! – И обхватил голову обеими руками, запустил пальцы в волосы, будто хотел вырвать их. – Только тебе от этого не легче. Не легче!

– Да, я знаю, ты расстреляешь нас всех – меня, Лизу... всю нашу семью, – проговорил Антон. – Юрку даже... ребенка не пожалеешь. Но ведь народ-то весь вам не перестрелять, не уничтожить, не подмять.

– Да? – И Свиридов усмехнулся. – Ты что, слепой, глухой? Не знаешь, не понимаешь, что происходит в России? Новониколаевск пал, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск наши. На Дальнем Востоке японцы, Забайкалье контролирует атаман Семенов, Южный Урал – атаман Дутов. В Поволжье добивают остатки красных отрядов. Все! Советской власти хватило на полгода. Была – и кончилась. И не будет больше.

– Э-э, нет, братец! Была, есть и вечно будет. В тех городах, которые ты перечислил, уже созданы, уже действуют подпольные партийные организации. Они поднимают народ, и скоро этот народ придавит вас к ногтю.

– Пока мы давим!

– Недолго вам осталось. Ведь от бессилия свирепствуете. Скоро, очень скоро народ спросит с вас за тысячи замученных, расстрелянных! За все сполна платить будете!

– Ну, поговорили умненько – и будет! – прервал его Свиридов. – Вопрос все тот же – кто мог войти в состав Томского подпольного горкома?

– Не знаю я, Свиридов. Я же был арестован тобой за несколько дней до занятия Томска белочехами. Кроме того, я возвращался из Москвы.

– Я понимаю, что наверняка ты не можешь знать. Но предположительно.

Полипов, лишний и забытый, сидел у стены, с недоумением наблюдая за допросом. Зачем Свиридову фамилии томских подпольщиков, когда своих, новониколаевских, он оставил в покое? Или он врет, Свиридов этот, Субботин и все остальные давно арестованы? И сейчас, после Антона, Свиридов начнет их вызывать по одному на очную ставку с ним, с Полиповым? Ну да, так, наверное, и будет! Вот зачем он, Полипов, доставлен сюда, в контрразведку. Непонятно только, почему именно таким способом, зачем его били тут.

И Полипов, мгновенно представив, что через несколько минут ему надо будет глядеть в глаза Субботину, облился холодным потом.

Однако события развернулись совсем по-другому.

– Значит, не будешь говорить? – переспросил Свиридов Антона.

– Я не предатель.

– Тебя-то мы все равно расстреляем. Пожалей хотя бы жену. Она на грани сумасшествия. Сына своего пожалей. Тетку свою... Ту сердечные припадки колотят, ты ее фактически погубил уже. Но жену и сына можешь спасти еще. Ну? Хотя бы предположительно?

Полипов видел, как лоб и щеки Антона покрылись крупной испариной.

– И предположительно я вам ничего не скажу. – Голос Антона осип, он громко глотнул слюну. – Пора бы это понять.

– Заговоришь, неправда... Косоротов!

И Косоротов втолкнул через порог Лизу. Антон и Полипов враз встали. Постояв, Полипов сел, а Антон продолжал стоять, держась за край стола.

Смотреть на Лизу было страшно. Растрепанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату.

– Сын... Где мой сын? Что вы с ним сделали?! – заголосила она, упала на колени, поползла к столу.

– Лиза! Лизонька! – Антон кинулся к жене, поднял ее, но Свиридов торопливо вышел из-за стола, отшвырнул от Антона жену.

– Юрка жив-здоров пока. – И повернулся к Антону: – Будешь говорить?

Антон вытер рукавом пот со лба.

– Мне нечего сказать... Нечего!

– Заговори-ишь! – И Свиридов рванул обитую войлоком дверь, прокричал туда: – Займитесь!

Все дальнейшее Полипов видел и воспринимал сквозь какой-то серый качающийся туман. Из комнаты, в которую вела обитая войлоком дверь, выбежали трое черных людей, схватили Лизу, поволокли. Антон бросился было вслед, но потом попятился назад, чуть не стоптал его, Полипова, и прижался к стенке спиной. И так стоял, крепко зажмурив глаза, царапая эту стену пальцами, обламывая ногти, слушая тяжкие стоны жены из соседней комнаты... Полипов поглядел на тот участок стены, которую царапал Антон. И увидел в том месте ободранную штукатурку, сквозь которую проступала в нескольких местах занозистая дрань. И он понял, что Антон не раз уже стоял вот так и царапал стену. И его замутило, в голове все поплыло.

Сколько времени все это продолжалось, Полипов не знал. Он очнулся от пронзительного голоса Лизы:

– Где мой сын? Вы его замучили? Вы его убили?!

Лизу, видимо, только что вытолкнули из-за войлочной двери, она ползла по полу, пытаясь встать. Голое плечо и ладони ее кровенились.

– Пока еще нет. Но замучаем, если будешь молчать!

Это Свиридов опять говорил Антону, который все так же стоял у стены, закрыв глаза.

– Покажите мне сына! Вы его убили... Покажите мне сына! – без конца повторяла и повторяла Лиза. Она поднялась наконец, но, никого не узнавая, крутилась на одном месте.

– Хорошо. Сейчас ты увидишь сына. Косоротов!

Косоротов так же молча, как Лизу, втолкнул из коридора в кабинет Юрку.

– Мама! Мамочка!

Лиза мгновенно узнала сына, цепко схватила его дрожащими руками, марая своей кровью его грязную рубашонку, и вместе с ним опустилась на пол – ноги ее не держали.

– Сынок! Сыночек, ты жив? Жив!

– Я жив, мама... – Он взял в ладошки ее лицо. – Какая ты стала, мама!

– Они били тебя? Они били тебя?

– Нет, меня не били. Только я есть хочу. Тут плохо кормят... – И мальчик увидел отца и Полипова. – Папка! Дядя Петя!

Он хотел было подбежать к отцу, но не мог вырваться из цепких рук матери.

– Какой папка? Его нету, он не приезжал еще из Томска, – торопливо заговорила Лиза. – А у меня телеграмма есть. Мы ведь поедем сейчас к нему в Москву. А ты поспи, поспи, сынок, перед дорогой. Усни и есть не будешь хотеть. А я песенку тебе спою, которую папа сочинил...

И она, прижимая к себе сына, запела тоскливо и жалобно, с трудом припоминая слова:

Над городом запах черемух... струится,
Давно отступила уж зимняя стынь...

– Ну, так будешь говорить? – резко спросил Свиридов, подойдя к Антону, – Или – прощайся с сыном.

Он подождал немного и, видя, что Савельев молчит, дернул бесцветными, сухими губами, сказал в третий раз:

– Вре-ешь, заговоришь! – И, оторвав мальчишку от матери, толкнул его за войлочную дверь. – Займитесь и этим щенком!

– Мама! Мама-а! – истошно закричал Юрка уже из-за двери.

Этот крик звоном отозвался в голове у Полипова. Чувствуя, как по груди и спине, между лопатками, обильными ручьями стекает холодный пот, он встал, хотел было куда-то идти.

– Сидеть! – рявкнул Свиридов.

Полипов сел и стал тупо, ничего уже не ощущая, глядеть на Лизу. А та, страшная, косматая, как-то странно ползала по полу, ощупывая каждую половицу. Потом посидела в задумчивости несколько секунд и начала руками ловить воздух, потрескавшиеся губы ее что-то шептали. И Полипов различил еле слышимое:

– Юра... Юронька, сынок? Куда вы дели моего сына?!

Она, шатаясь, встала, ткнулась в стол, потом в стену. Прислушалась к чему-то, улыбнулась. Глаза ее, зеленоватые, бездонно глубокие глаза, которые так нравились Полипову, горели нездоровым, но красивым огнем...

Полипов отлично понимал, что там, за обитой войлоком дверью, происходит ужасное. Там, почти на глазах у беспомощного отца и обезумевшей матери, пытаются ребенка. Но то ли он притерпелся ко всему, то ли просто внутри у него все одеревенело – он не испытывал того головокружения, от которого несколько минут назад почти потерял сознание, его только сильно тошнило, и он боялся, что его вырвет.

Антон не царапал теперь стену, глаза его были открыты, зубы крепко сжаты, так крепко, что отчетливо обрисовывались челюсти, делая его лицо некрасивым. И еще Полипову казалось, что зубы Антона с тихим треском крошатся.

А Лиза между тем все скользила по стене к обитой войлоком двери. И вдруг оттуда раздалось:

– Ма-ама-а! Мам...

– Хватит! Хвати-ит! – Свиридов рванул воротник. Потом схватил себя за горло, задыхаясь. – Увести всех! Всех Савельевых!

Свиридов подбежал к шкафу, достал бутылку.

Снова застучало стекло о стекло.

* * *

Выпив, Свиридов успокоился, сел опять за стол, нервно поворошил бумаги, нашел что-то нужное, минут десять писал, протыкая пером тонкие листы.

– Ужас... Ужас... – пробормотал Полипов, все еще обливаясь потом. Он сидел согнувшись, глядя в пол. – Все-таки объясните мне – почему я здесь? Зачем били меня? Зачем...

– А это не тебя, это меня били, – прервал его Свиридов. – Это я сам себя бил.

– Вы, кажется... Не Лиза, а вы сошли с ума.

– Верно, – согласился Свиридов. – Около того. Так как же, Полипов! Вот вы видели... На ваших глазах сошла с ума женщина, которую вы, как вы говорите, любите... Теперь, после этого, вы поняли... или хотя бы задумались – зачем рождается человек? Зачем живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь?

Говоря это, Свиридов встал, скрестил на груди худые, жилистые руки. Глаза его были пустые, холодные.

– Мне только об этом и осталось думать... – В голове Полипова стучало: «В самом деле – сумасшедший».

Но, как бы опровергая это, Свиридов сказал:

– Жаль. Но когда-нибудь задумаетесь. Каждый человек об этом все равно задумывается – рано или поздно... Косоротов!

Полипов сжался. Что еще выкинет сейчас этот безумец Свиридов? Ах да, вызовет на допрос Субботина...

Но когда появился Косоротов, Свиридов спросил, глядя куда-то в угол комнаты:

– Как она, Савельева Елизавета?

– Совсем, должно, тронулась, вашблагородь. Связала в узелок какие-то тряпки, ходит по камере, у всех спрашивает, не опаздывает ли поезд. В Москву, грит, собралась, к мужу.

– Ага... А старуха Савельева?

– Стонет лежит, за сердце держится.

– Ага, – опять протянул Свиридов. – Вышвырни их вон, к чертовой матери. На сумасшедших чего пули тратить. И мальчишку выброси. Вот... – И Свиридов протянул несколько бумажек. – И на этого тут документ, – кивнул Свиридов на Полипова. – Тоже пускай идет, выпустишь.

Косоротов с удивлением глянул на Полипова. Однако, не привыкший обсуждать поступки начальства, произнес:

– Слушаюсь, вашблагородь.

Косоротов ушел, а Свиридов опустился на тот стул, на котором сидел недавно Антон Савельев, закрыл лицо ладонями.

– Я что же... действительно могу идти? – тихо спросил Полипов.

– Можете.

– Но как же я объясню... своим... каким образом я вышел отсюда?

– Мне какое дело? Объясняйте. Хотя это действительно вам будет трудно. Мой вам совет – сегодня же ночью убирайтесь из города подальше и там попытайтесь пристать к любой части Красной Армии. Так вы, может быть, спасете себя, а главное – новониколаевских подпольщиков. Я ведь действительно оставил ваш донос без внимания. А другой не оставит... Впрочем, можете открыто вступать и в белогвардейский отряд здесь, в городе. Дело ваше. Или езжайте в Томск, к Лахновскому, он давно вышел из тюрьмы...

– Да кто же вы, в конце-то концов?! – изумленно спросил Полипов, как когда-то на квартире у Свиридова.

– Я? – Свиридов отнял ладони от лица. Отвислые щеки его подрагивали. – Сейчас, пожалуй, уже никто. А в прошлом... в прошлом такой же подлец, как и ты...

– Я все-таки попросил бы...

– Оставь, пожалуйста, эмоции, – устало сказал Свиридов. – Я когда-то смалодушничал, как и ты. Здесь же, в этом городе, в Новониколаевской тюрьме. Ведь мы тогда вместе сидели. И ты помнишь, отец или, кажется, дядя этого Антона Савельева сказал мне: лет через пять ты станешь платным осведомителем царской охраны. А я стал раньше. Я, в прошлом меньшевик, по совету того же Лахновского примкнул открыто к большевикам. И я их выдавал, выдавал!

В конце концов меня стали подозревать, относиться недоверчиво. Видимо, я где-то был не так осторожен и хитер, как ты... Меня разоблачили бы безусловно, но началась революция. В суматохе было уже не до меня, я перебрался из Томска в Новониколаевск и здесь...

– И здесь вы превратились в пьянчужку, – сказал Полипов.

– Нет, тут со мной случилось еще большее несчастье. Меня вдруг стали мучить вопросы – простые вопросы, которые вчера еще были мне абсолютно ясны: а что, собственно, происходит на земле, что случилось в жизни, куда она идет? И я, грамотный, культурный человек, интеллигент, – я когда-то преподавал в гимназии, я учил детей добру, человечности, справедливости, – кто же я, что я, зачем я на земле?

– Действительно, – сказал Полипов.

– Перестаньте! – Свиридов резко поднялся. – Мне вам всего не объяснить, а вам, кажется, не понять.

Он отошел к окну, опять крестом сложил руки на груди, сжимая ладонями плечи, будто ему было холодно, долго смотрел сквозь решетки на вечернее небо. И вдруг спросил:

– А вот Антон Савельев – он знает, кто он, что он, зачем он на земле? А? На его глазах жена с ума сходит, а он молчит. На его глазах сына терзают, а он молчит. Вы видели, он даже предположительно никого не назвал. Отвечайте! Как он мог? Откуда у него такие силы? Во имя чего?

Полипов не знал, что отвечать и надо ли отвечать.

– Или... или ему ясно, с самого начала ясно то, что мне стало вдруг неясно? – Свиридов потер виски длинными пальцами. – Что ж, его расстреляют. Его – чуть раньше, нас с тобой – чуть позже. Помнишь, как он сказал? «Народ придавит вас к ногтю». – Свиридов болезненно усмехнулся. – Как вшей, значит. А? Придавят?..

– Чего вы спрашиваете? Вы же только что доказывали Антону обратное.

– Ты болван, Полипов. Какой ты болван! – будто даже с сожалением произнес Свиридов.

– Вы что же, затем, чтобы сказать мне это... и вообще высказать свои... не знаю, как назвать... сомнения... и кинули меня в этот застеночек, заставили смотреть на... Чтобы и у меня возникли такие же сомнения, такие же вопросы?

– За этим ли, за другим ли – мне уж и самому не понять. – Свиридов просунул руку сквозь решетку, сдернул оконный шпингалет, толкнул створки. – Захотелось – и арестовал. Я мог бы расстрелять вас вот в этом кабинете, вот из этого нагана. – Он подошел к столу и действительно вытащил из ящика наган.

Полипов дернулся со стула, но полностью, во весь рост, разогнуться не мог, так и застыл, скрюченный, застыл от смертельного испуга – в лице Свиридова не было ни кровинки, глаза, опять пустые, холодные, безумные глаза Свиридова продавливали его насквозь.

– Да, я мог бы, но не знаю, будет ли это справедливо, – заговорил Свиридов тихо. – Я мог бы освободить и Антона Савельева, но тоже не знаю, будет ли это справедливо. Поэтому самое справедливое – пустить себе пулю в висок.

Полипов с ужасом глядел на Свиридова, на его пустые глаза, на белые, как бумага, щеки, на сухие, побелевшие на сгибах пальцы, сжимающие рукоятку нагана. И ему стало до пронзительности ясно, что Свиридов сейчас действительно застрелится.

– У меня есть дочь, Полипов. Вы ее видели, кажется. Ее Полиной звать, знаете? – зачем-то спросил Свиридов.

– Да. Мельком видел.

– Если вы останетесь живы, скажите ей... когда-нибудь, если выйдет случай, что отец ее запутался, что у него не было выхода. И вообще знайте... если потом станет ясно, что я шел против течения, утром пытался вернуть прошедшую ночь, – что ж, значит, все правильно. Если же... если окажется, что я боролся за правое дело, – вы меня простите, что не выдержал.

Я старался, но нет больше сил. Постарайтесь понять, что сам перед собой я был честен. А ведь сам перед собой каждый должен быть честен. Впрочем, зачем я вам говорю все это?

«Действительно, зачем?» – подумал Полипов.

– А теперь уходите! Косоротов вас выпустит.

...С бьющимся сердцем, не веря в свое освобождение, боясь, что кто-то его увидит, Полипов вышел из окованных железом дверей здания контрразведки. Когда он шел вдоль высокого забора, поверх которого была натянута в несколько рядов колючая проволока, услышал выстрел, долетевший, как он догадался, из открытого окна кабинета Свиридова. Звук был тихий, не страшный – будто кто над ухом переломил сухой прутик...

Этой же ночью, воспользовавшись советом Свиридова, Полипов, никуда не заходя, ни с кем не повидавшись, исчез из города.

На расстрел Антона Савельева повели первой июльской ночью, темной и хмурой. Было, наверное, часа три, но летние ночи короткие, на востоке, в той стороне, куда его вели, плотные тучи, застилавшие небо, начали синевато промокать. Погромыхивал где-то далекий гром.

Справа от Антона шел пожилой, с редковатыми висячими усами конвоир; время от времени зло покрикивал на Антона:

– Давай, давай... пошибче шагай! И так припоздали, рассвет скоро. А-а, лихоманец! – И толкал его прикладом.

Четверть часа назад на тюремном дворе этот конвоир, застегивая ему наручники, шепнул:

– Перепилены они. Мимо извилистого оврага поведем – прыгай вниз, как зачну кашлять, там ждут...

Сердце Антона забилося: неужели и на сей раз удастся избежать смерти?

Вышли за город, пошли редковатым березнячком. Антон знал: березнячок скоро кончится, начнется довольно густой смешанный лес, а тут берет начало этот самый извилистый овраг, не очень глубокий, поросший всякой древесной мелочью. «Удастся ли? Кто там ждет? Субботин, наверное, кто же еще...»

Антон волновался так, как никогда не волновался, даже в самых отчаянных и безнадежных положениях во время своих многочисленных прошлых побегов.

Они давно шли по краю оврага, Антон прислушивался, не кашляет ли усатый конвоир, но слышал только, как поет неподалеку первая, сонная еще, зорянка.

Как он ни ожидал условленного сигнала – услышал его неожиданно. Усатый конвоир, все так же идя сбоку, кашляя, чуть отвернулся. Антон ударил его плечом, отшвырнул, в два прыжка очутился на краю оврага, прыгнул вниз, покатился по скользкому травянистому склону, чувствуя, что руки его свободны, только звенят на обоих запястьях нестрашные теперь железки. Наверху раздались крики конвойных и беспорядочная стрельба. Хотя сверху стреляли и наугад – на дне оврага совсем было темно, – Антон слышал, как вокруг глухо шлепают в сырую землю пули.

– Живо... сюда! – сказал кто-то сдавленно (по голосу Антон узнал наборщика городской типографии Корнея Баулина), дернул его в сторону, впихнул в какую-то земляную щель и сам лег рядом, тяжело дыша. А близко, совсем близко слышался уже топот ног, и усатый конвоир кричал:

– Туда он побег, лихоманец, туда! Вниз по оврагу. Вон он, вон он! Сто-ой, твою...

Опять наперебой затрещали выстрелы, топот ног и хруст веток под сапогами стали удаляться.

– Живо! – Баулин поднялся, побежал вверх по оврагу.

Антон при падении ушиб колено, но, к счастью, не очень. Прихрамывая, он побежал следом.

Саженой через пятьдесят они выбрались из оврага наверх. Там, в кустах, стояла извозчичья пролетка Засухина.

– Садись, – коротко сказал, подбирая вожжи, хозяин пролетки. – На, переодевайся да спиливай колечки с рук. – Засухин кинул ему трехгранный напильник, узел с одеждой, погнал пролетку по затравеневшей лесной дороге. Баулин нырнул в лес, будто его и не было.

Рассвет только-только занимался, зорьки свистели теперь наперебой. Пролетка катилась мягко, без стука.

К берегу речки Ини, протекавшей неподалеку от города, подъехали, когда совсем стало светло. Остановились в прибрежных тальниках. Откуда-то подбежал долговязый парень лет двадцати пяти, поздоровался.

– Это Данилка Кошкин, сынок Ивана-конвоира, который с усами-то, – сказал Засухин Антону. – Он тебя на лодке перевезет на другой берег, а там... Ну, он знает куда... Лучше тебе подале от города быть пока. Так Субботин сказал. Поклон тебе от него. Ну, айда, пока совсем день не разгулялся.

– Один вопрос, Василий Степанович. Как там мои – Лиза, Юрка, тетка? Свиридов, следователь, застрелился, подлец, а перед этим выпустил все же их.

– Тетка, Антон, померла вскорости, – глухо проговорил Засухин. – Не выдержало сердце... А жена твоя Лизавета – ничего, слава богу. Оклемалась вроде. И сын здоров. Ты не беспокойся, за ними приглядывают наши люди. И про Свиридова слышали. Про дядю твоего Митрофана знаем. Полипов где вот? Тоже сплюшал где-то, в лапы того Свиридова, говорят, попал.

– Раз я видел его там... Только раз, во время допроса. Расстреляли, вероятно.

– Может, и так, – нахмурился Засухин. – Бывали ночи – по сотне людей они расходовали.

Сидя в лодке, Антон торопливо дышал полной грудью, оглядывал пустынную речку. Данило Кошкин молча бил веслами.

– Увидишь отца – скажи ему спасибо от меня, – сказал Антон, когда пристали к берегу. Парень хмыкнул.

– Пулю бы ему – это бы как раз по справедливости стало.

– Это как же? – удивленно спросил Антон.

– А так... Думаешь, он за так согласился помочь нам? Черта с два! Деньги ему большие уплачены были. Жадный он до денег. Я думал – все равно обманет. Нет, все выполнил, что было договорено.

– Вот оно что!

– А ты как думал? Я с ним, с кровососом, давно разошелся. – Помолчал и добавил: – По идейным мировоззрениям.

* * *

Силантия Ивановича Савельева и его жену Устинью полковник Зубов распорядился повесить на главной улице Михайловки, в присутствии всех жителей деревни.

13 июля 1919 года, в воскресенье, после полудня, Михайловских баб, стариков и ребятишек стали сгонять в середину деревушки, где стоял развесистый тополь. На могучей ветке дерева болтались две намыленные веревочные петли, к стволу была прислонена непокрашенная скамейка. Над деревней стоял шум, крики, детский плач. Но головорезы из отряда Кафтанова, бывшего Михайловского лавочника и первого на всю округу богатея, объявившегося в деревне со своей бандой одновременно с белогвардейцами, безжалостно выгоняли всех из домов, теснили на место казни.

Верстах в пяти от Михайловки в просторном голубовато-белесом небе ослепительно горели под солнцем могучие гранитные утесы Звенигоры. За один из утесов зацепилось

небольшое, первозданной чистоты облако, долго стояло там, чуть покачиваясь, будто наблюдая, что происходит в деревне. Потом, оставив редкие клочья на острых камнях, поплыло дальше, в сторону большого села Шантары, лежавшего неподалеку за Звенигорой, вдоль берега довольно широкой речки Громотухи.

Казнили старого Силантия за то, что он помог укрыться партизанскому отряду в неприступных каменных теснинах Звенигоры. Этот большой отряд, организованный бывшим председателем Шантарского волостного исполкома Совета Поликарпом Кружилиным еще год назад, гоняясь по лесам за возникшей во время белочешского переворота кулацкой бандой Михаила Лукича Кафтанова, фактически контролировал огромную таежную область в верховьях реки Громотухи, препятствуя сбору податей, недоимок за прошлые годы, мобилизации людей в колчаковскую армию. А нынче весной, скрываясь все в тех же громотухинских лесах, партизаны небольшими группами начали объявляться на пустынных железнодорожных перегонах южнее Шантары, портили железнодорожный путь, развинчивали и увозили прочь рельсы, самодельными минами взрывали небольшие мосты. В марте, апреле и мае железнодорожное сообщение между Новониколаевском и Барнаулом почти прекратилось. Тогда-то и был послан из Новониколаевска регулярный белогвардейский конно-пехотный полк под командованием полковника Зубова со специальным заданием – во что бы то ни стало уничтожить отряд Кружилина.

Разгрузившись на станции Шантара в начале июня, полк двинулся через Михайловку в тайгу, где к Зубову примкнул и Кафтанов со своей сотней головорезов. К концу месяца Зубову и Кафтанову удалось выгнать из тайги наполовину перебитый партизанский отряд, в котором оставалось все же около трехсот человек, но совершенно почти не было боеприпасов, оттеснить его к самой Михайловке, на голое степное место. Оторвавшись от преследователей на несколько часов, перейдя вброд обмелевшую Громотуху, протекавшую от Михайловки в трех верстах, Кружилин хотел увести отряд через деревню на восток, в сторону Огневских ключей. С юга и севера по пятам наступали Зубов и Кафтанов. На западе стеной стояла Звенигора, за ней, за Звенигорским перевалом, – Шантара, где, по сведениям вездесущего начальника партизанской разведки Якова Алейникова, был хотя и малочисленный, но хорошо вооруженный белогвардейский гарнизон. Оставался восток, эта дорога на Огневские ключи, но Кружилин не был уверен, что Зубов заранее не послал туда, в обход, часть своих войск, чтобы заткнуть и эту дыру.

– Яков, проверить надо Огневскую дорогу, – сказал Кружилин, спешиваясь посреди деревни, возле колодца. Достал ведро воды, начал жадно пить.

– Проверим, – ответил Алейников, невысокого роста парень, щупловатый, с тонкими губами. И, остановив пожилого партизана с рыжей бородкой, крикнул: – Ну-ка, живо Федора Савельева ко мне со всем эскадроном! – И тоже припал к ведру.

Кружилина и Алейникова обступили испуганные и любопытные жители деревни.

К колодцу, взбивая пыль, подсакало десятка два всадников. И тут в толпе послышались удивленные возгласы:

– Глядите-ка, Федор! Сынок-то Силантия!

– Батюшки, а рядом-то с ним, с Федькой, кто? На гнедой лошаденке, в кожанке-то? Баба ить, хоть и в штанах? Не Анна ли Кафтанова?

– Не ври. С чего дочке Кафтанова в партизанах быть!

– Да ить она! Ты глянь, ты глянь!

– Кирька?! Инютин? – закричала какая-то старушонка. – И ты в партизанах?

– Какой Кирька? Сынок старосты, что ли?

– Ну! Он!

– Господи Иисусе! Эк все перебулькалось! А староста одноногий в отряде Кафтанова в казначеях ходит, Акимка-мельник сказывал...

– Да это что за партизаны такие?

– И Ванька Савельев, грит еще Акимка, меньшой парень Силантия-то, у Кафтанова воюет...

– То-то и дело... Чудеса, одним словом...

Пока раздавались эти возгласы, Алейников вскочил на коня, махнул рукой, эскадрон, подняв облако пыли, вылетел из деревни. Но через час вернулся, потеряв двух человек убитыми.

– Прямо под пулеметный огонь врезались. На Журавлиных болотах, – коротко объяснил Яшка. – А преследовать нас не стали. Знают, сволочи, что куда теперь нам не уйти.

Этого-то Кружилин и боялся. Журавлиные болота тянулись на много километров. Единственная дорога, пролегающая через топи, была перерезана. Отряд оказался в мешке.

Кружилин выслушал донесение Алейникова, сидя на лавке в тесной избенке Силантия Савельева, опустил голову и стал молча и жадно курить.

Федор, двадцатичетырехлетний парень, широкогрудый, сильный, со сросшимися бровями, под которыми сверкали темные, чуть угрюмые глаза, соскочив во дворе со взмыленного жеребца, по привычке бросил поводья Анне, вытер небольшие запыленные усы и тоже зашел в избу, гремя шашкой. За дощатым столом несколько партизан что-то хлебали из мисок. Устинья, старая, иссохшая и почерневшая, как прошлогодний лист, качнулась к нему:

– Феденька, сынок... – И заплакала. – А Ванюша-то как? Где? Не слышал, живой он?

– Ну... живой, поди, коли со мной пока не встретился, – проговорил Федор глухо. – А встретится – мертвый будет.

И отстранил тихонько мать. Силантий, белый как лунь, сидел у дверей на скамеечке. Он только поглядел на сына, но ничего не сказал.

В избу зашел Панкрат Назаров, бывший председатель Михайловского Совета, а теперь заместитель Кружилина, мужик лет за сорок, уже наполовину седой, по-крестьянски угловатый и неповоротливый. Полгода назад он был тяжело ранен, пуля застряла где-то в груди. Недели две изо рта у него текла кровь, никто не думал, что он выживет. Но здоровья Назаров был отменного, кровотечение прекратилось, и он встал на ноги.

– Должно, ты ее, пулю-то, с кровью выплюнул, – решили партизаны.

– Нет, чую, там сидит, зараза, – сказал он как-то. – В легком, должно. Как запыхаюсь, так и чутся. Да нехай, весом потяжелыше буду.

Человек спокойный, рассудительный и справедливый, за что михайловцы несколько раз выбирали его в деревенские старосты, Назаров и в отряде пользовался большим уважением. Кобура с маузером сильно оттягивала ремень, оружие не шло ему, казалось лишним, ненужным. Глядя на Назарова, никак нельзя было сказать, что он умеет обращаться с ним.

– Людей покормили, – сообщил он. – Патроны я подсчитал – слезы. Помирать, что ли?

Кружилин поднял лобастую голову, режущие глаза его скользнули по Назарову, по Федору, остановились на Силантии.

– Помирать – так не задешево. На открытом месте мы и получасового боя не выдержим. Веди людей к Звенигоре, укроемся в ущельях. Ступай.

Назаров вышел. Дохлебав из мисок, заспешили и остальные. Сквозь гнилые стены избенки слышно было, как ржали по всей деревне лошади, стучали повозки с ранеными, раздавались крики и команды.

– Так что же, Силантий Иванович? – вздохнув, спросил Кружилин, видимо, уже не первый раз. – Может, все же укажешь нам дорогу в Зеленую котловину? Кроме тебя, некому. Я просил двух-трех стариков – отказались. Боятся.

Старик пригладил редкие на остренькой макушке волосы, но промолчал. Устинья вытерла мокрые дряблые щеки и опять всхлипнула:

– Да ить, знамо дело, решат тогда они любого, белые-то... Как придут, так и решат.

– Ну, тогда всех нас порешат. Федьку, сына твоего, первого, – жестко сказал Кружилин.

– Цыть-ка, ты, старуха, – проговорил наконец Силантий негромко. – Не в том дело, что под смерть меня подведут – пожил я, слава богу, – а вот отыщу ли дорогу? В котловине этой почти полвека не бывал. Ну, может, господь поможет. Айда. – И поднялся. – Бревен только подлиннее с пяток захватите, плашек с дюжину да гвоздей...

Зеленая котловина, о которой шла речь, находилась где-то среди каменных теснин Звенигоры. Это было нечто вроде высокогорного луга, поросшего буйными, никогда не мятыми травами, окруженного гладкими отвесными скалами, из-под которых во многих местах били холодные ключи. Туда вела единственная горная тропа, она вилась по каменным карнизам над бездонными пропастями, по ней можно было только пройти по одному да в крайнем случае провести в поводу лошадь.

Старики боялись, что ребятишки соблазнятся этой котловиной, пойдут и погибнут, дорогу туда держали в строгом секрете. Кружилин, выросший в Михайловке, в детстве несколько раз пытался найти начало этой таинственной черной тропы, но безрезультатно.

Расчет Кружилина был прост. В голых каменных ущельях белогвардейцы все равно их скоро перебьют. Если же удастся проникнуть в неприступную котловину, ведущую туда единственную узкую тропинку оставшимися боеприпасами можно держать долго, очень долго, а там...

Но что «там», Кружилин не мог знать и старался об этом не думать.

Солнце было еще довольно высоко, когда Кружилин, Алейников, Федор и Силантий Савельевы слезли с брички у подножия Звенигоры. Старик, кряхтя, огляделся, опираясь на костыль, тяжело дыша, полез вверх. Шагов через пятьсот остановился, огляделся.

– Ну, вот тут, кажись. По этой осыпи идите. Бревна и плахи с собой возьмите. Сажень через сорок осыпь кончится, как раз перед пропастью. Глыбкая она страсть, а неширокая, сажени в две. А за ней тропа и начинается. Бревнышки перекинете, плашек поперек настелете – перейдете легонько даже с лошадьми. А там тропа до места вас доведет, ежели не порушилась за эти-то годы. А я обратно потрясусь, тяжело мне... – И тут только будто впервые увидел сына, обнял его. – Прощай, что ли, сынок, храни тебя господь.

– Может, с нами все же, Силантий Иванович? – предложил Кружилин.

– Нет, уж куда мне. А вы поспешайте.

И спустился к бричке, влез в нее, поехал в деревню, мимо подходов и подъезжавших к Звенигоре партизан.

К исходу дня, побросав бесполезные теперь повозки, унося на руках раненых, уводя в поводу упиравшихся, всхрапывающих лошадей, остатки отряда Кружилина скрылись в горах.

Ух как рассвирепел полковник Зубов, тонкий, высокий человек с тугими, чисто выбритыми щеками, поняв, что Кружилин ушел от него! Нашелся кто-то из деревенских, доложил о старом Силантий. Зубов, страшный в гневе, поздно вечером прискакал в деревню, бросил поводья своему сыну Петьке, мальчишке лет десяти-двенадцати, все время находившемуся при отце вроде ординарца, заскочил в избу Савельева.

– Скотина! – Он дважды полоснул старика плетью. Крепкие щеки Зубова тряслись, как студень. – Взять его! Засечь насмерть! При всем народе!

– Помилуйте, батюшка! – повалилась в ноги ему Устинья. – Заставили его, как откажешься? Помилуйте! Ведь сын мой, Иван, у вас служит. Сын, Ванька... Ваше благородие?!

– Ма-алчать! – багровея, закричал Зубов. – Какой еще сын? Ты кто такая? И эту взять!

Сечь Силантия и Устинью все-таки не стали. Больше недели обоих продержали под арестом в крепкой кафтановской завогне. А потом Зубов распорядился их повесить.

* * *

Иван Савельев, младший сын Силантия, русоволосый, поджарый, как гончая собака, с длинными руками, за преданность Кафтанову был при нем коноводом, кучером, телохранителем. Он старательно и безропотно нес все обязанности, ибо Кафтанов давно, еще до восемнадцатого года, обещал отдать за него единственную свою дочь Анну.

Весной восемнадцатого года, когда началась вся эта кровавая карусель, Анна исчезла из деревни, оказалась вместе с Федором в партизанском отряде Кружилина.

– С-сучка! – коротко сказал бельмастый сын Кафтанова Зиновий, узнав об этом, и другой, здоровый глаз его страшно сверкнул. – И любовь у нее сучья. Как за кобелем, за братцем твоим Федькой все бегала. И сейчас...

Бегала, Иван это знал. Кафтанов тогда не единожды самолично сек дочь и таскал за волосы, пробуя отвадить ее от Федора, но это мало помогало. В те времена обещать-то обещал Кафтанов отдать за Ивана, своего работника, Анну, но – видел и понимал Иван – медлил, колебался. А когда Анна оказалась в партизанах, у Михаила Лукича аж дыбом поднялась борода, красные прожилки в глазах стали еще толще. И он сказал со страшным спокойствием:

– Служи, Иван. А ее, Аньку, достанем... Кину ее к твоим ногам. Хочешь – топчи ее до смерти, хочешь – милуй. Дело твое. Слово даю.

Год прошел с тех пор, но «достать» Анну, дочь свою, Кафтанов все никак не мог. Да и что получится, если достанет, если «кинет» Кафтанов дочь свою к его ногам? – невесело размышлял Иван все чаще. Пойманный как-то кружилинский партизан, которого, по приказу Кафтанова, Иван повел расстреливать, рассказал ему, что Анна наравне с мужиками служит в Федоровой эскадроне, в боях, даже в самом пекле держится всегда возле Федора, оберегая всячески его от пуль и шашек.

– А жить, как мужик с бабой, вроде не живут, нет, незаметно. Это и дивно всем, – говорил партизан. – А мне не диво. Анна – девка, каких и не бывает теперя, до свадьбы – режь – не позволит ничего такого.

Партизана того Иван расстреливать не стал, отпустил на свой страх и риск (Кафтанов, узнай об этом, самого Ивана бы расстрелял). Партизан, кривоногий мужичок из деревни Казанихи, обрадовался, сказал:

– Дык, можа, и ты айда к нам? К Кружилину-то?

– Куда-а... Запутался я, брат, до конца, как рябчик в силке. Федор, братец, самолично меня зарубит.

– Что Федор! У нас Кружилин Поликарп над всеми командир. Он мужик понимающий, душевный.

– Ты иди-ка, пока я в самом деле тебя не шлепнул! – вдруг, рассердясь, крикнул Иван.

И с того дня Иван все скучнел, чернел лицом, сделался вялым. Ночами его не брал сон, ворочаясь, он все думал: отчего же он запутался, кто в этом виноват? Сам ли он со своей любовью к Анне, Анна ли, отказавшая ему в своих чувствах, Кафтанов ли, обещавший отдать за него Анну, время ли, суматошное и кровавое, все перепутавшее?! Или все это, вместе взятое?

Ответить на это Иван себе не мог.

* * *

Узнав, что Зубов распорядился повесить отца и мать, Иван побледнел, закачался.

– Михаил Лукич?!

– Ну! – крикнул Кафтанов. – Что я могу? Надо ему было, старому черту, дорогу в эту котловину показывать? Как теперь партизан взять?

Партизан действительно было не взять. Узкий каменный карниз день и ночь охранял караул из нескольких человек. Как рассказывали, несколько партизан лежали на крохотной площадке за сооруженным из камней бруствером, и, едва впереди показывался белогвардеец, кто-нибудь из партизан не спеша прицеливался и стрелял. Белогвардеец отваливался от каменной стены и, болтая руками, летел в пропасть. Только и всего.

– Тогда я сам... я сам пойду к полковнику, попрошу его.

– Давай, – усмехнулся Кафтанов. – Про Мишку Косоротова слышал? Он тебя живо в его лапы отдаст.

Про какого-то Косоротова в отряде Кафтанова ходили страшные слухи. Видеть его никто не видел, но было известно, что в разведроде полка есть некий гражданский человек, мастер-палач, умеющий заставить говорить любого пленного. И толковали про такие подробности – действительные ли, выдуманные ли, – от которых в жилах стыла кровь.

Загнав партизан в Зеленую котловину, убедившись в невозможности их оттуда выбить, Зубов решил уморить их голодом. Он оставил у подножия Звенигоры батальон солдат, остальных отвел на отдых в Михайловку. Сам, взяв на всякий случай для охраны роту солдат и кавалерийский эскадрон, уехал на кафтановскую заимку, в Огневские ключи.

На этой заимке, верстах в двадцати от Михайловки, на берегу глубокого и светлого таежного озера, стоял большой, в несколько комнат, дом, рядом баня, три-четыре сарая, конюшня. Место было глухое, дикое, когда-то Кафтанов устраивал тут пьяные кутежи с женщинами. Теперь стояла здесь тишина, в конюшне только побрякивали удилами нерасседланные лошади да бесшумно сновали по затравеневшему двору полковничьи ординарцы. Сам полковник, хмурый, неразговорчивый, уже несколько дней подряд со своим малолетним сыном ловил с лодки рыбу.

Кафтанов, боясь, что его люди будут тревожить пьяными криками отдых полковника, тоже расквартировал их в Михайловке, с собой на заимку взял лишь Ивана да Зиновия.

Утром 13 июля, несмотря на зловещее предупреждение Кафтанова, Иван, чувствуя, как холодеет в животе, подошел к дверям самой большой комнаты, перевел дух, стукнул два раза и, дождавшись ответа, шагнул через порог.

Зубов с сыном завтракали. Полковник, не раз видевший до этого Ивана, удивленно поглядел на него, долго не мог понять, чего он хочет. А когда понял, начал багроветь.

– Вон как! Этот... этот – твой отец?

– Ваше высокоблагородие! – взмолился Иван. – Старик же... из ума выжил.

– Во-он! – закричал полковник, срывая с шеи салфетку, комкая ее. Иван не помнил, как выскочил из дома, сел на лавку у стены, зажал руками пылающую голову.

И час спустя он сидел так же. Зубов, выйдя с удочками, крикнул:

– Савельев!

Иван встал.

– Что служишь верно – хвалю. Отец будет... будет наказан. А мать помилуем, не виновата... Я послал сказать.

И ушел с удочками на озеро. А Иван стоял и стоял столбом, и казалось, будет так стоять вечно.

* * *

Согнанные к тополию люди волновались, слышались невнятный ропот, женский плач. И вдруг все смолкло, толпа замерла в оцепенении – вели Силантия и Устинью.

Старик шел твердо, обиженно поджав губы, глядя прямо перед собой. Устинья плелась чуть сзади мужа, озиравлась вокруг, будто не понимая, зачем собралась тут эта огромная толпа.

Увидев болтающиеся на суку петли, она вскрикнула и осела в дорожную пыль. Два белогвардейца взяли ее под руки, поволокли под дерево.

В толпе людей недалеко от тополя стоял в рваном армяке Яков Алейников, поглаживая дрожащей рукой приклеенную бороду, угрюмо смотрел, как белогвардейцы устанавливают под деревом скамейку. Больше трех суток подряд, ободрав в кровь руки и ноги, он лазил по скалам, окружавшим Зеленую котловину, соображая, нельзя ли где спуститься вниз. И нашел-таки более или менее пригодное для этого место. Сегодня ночью, под покровом темноты, связав несколько ременных вожжей, он спустился по отвесной скале почти с пятидесятисаженной высоты и к утру был в избе Михайловского мужика Петрована Головлева, который и раньше оказывал партизанским разведчикам кое-какие услуги.

Когда стали сгонять на казнь, Головлев хотел спрятать Алейникова в подпол, но отчаянный Яшка сказал:

– А пойдем глянем, чтоб злее быть.

– А признают как?

– Ну, тебя не выдам, не бойся.

Неожиданно толпа раздалась, пропуская конника. Ординарец Зубова спешил, сказал что-то одному из белогвардейцев. Тот подошел к Устинье, сидевшей под деревом, поднял ее тычками и молча толкнул в толпу.

– Помилована, что ли? – проговорила женщина с ребенком возле Алейникова.

– Должно, – ответил другой голос. – Може, и Силантия...

Но Силантия тот же белогвардеец ставил на скамейку. Потом и сам встал на нее, накиннул петлю на худую, морщинистую шею старика, соскочил на землю.

– Прощайся, что ли, с людьми, старик, – сказал он негромко.

– А? – переспросил Силантий. – Счас... – И задумался, опустив голову. Потом поднял ее и сказал: – Ну-к что... Вы Ваньше-то обскажите, как отец сгинул...

Толпа жадно выслушала эти слова и вдруг опять заволновалась, загудела.

Будто испугавшись этого, белогвардеец толкнул ногой скамейку из-под старика.

– Силантий! – раздался обессиленный крик Устиньи. – Родимый!

И потонул в жутком стоне толпы.

* * *

Яков Алейников вернулся в Зеленую котловину через несколько дней на рассвете. Дежурившие на скале Федор и Данило Кошкин, тот самый сын новониколаевского тюремного конвоира, разошедшийся с отцом «по идейным мировоззрениям», втащили его наверх.

– Яковы бывают всякие, а таковский – один на свете, – сказал он довольно. Потом помрачнел. – Отца твоего повесили, Федор.

– Батьку?! – вскрикнул тот и, точно сваренный, сел на остывший за ночь гранит.

Утром Яков Алейников предложил дерзкий и отчаянный план:

– Выход из котловины сторожит всего-то жалкий конный полуэскадронишко. Сперва до батальона солдат внизу стояло. Потом сообразили: им нас не взять, но и нам никак не выйти отсюда. Разобрали наш мосток через расселину и все почти ушли в Михайловку. Под горой всего двенадцать человек оставили, я их поштучно пересчитал. По двое в карауле сидят, остальные дрыхнут. Кони их рядом, на луговинке, пасутся. Весь полк и банда Кафтанова в Михайловке. Сам Зубов с Кафтановым на заимке в Огневских ключах. В бане прячутся да рыбку ловят. Правда, с ними там кавалеристов с эскадрон да рота солдат. А на дороге через Журавлиные болота сейчас всего лишь пулеметная застава стоит. Но эта застава что! Я ее со своими разведчиками на себя беру, без шуму ликвидируем. Короче, предлагаю: десятка два партизан спустить ночью со скалы на веревках. Этих двенадцать, да еще сонных, шашками изрубить

– плевое дело. Выведем отряд – и на Огневские ключи! Поспеем на заимку к рассвету, – а должны поспеть, чего там! – опять же сонную зубовскую охрану играючи перерубим – и снова в тайгу. А там – ищи-свищи!

Возле шалаша Кружилина на примятой траве сидели пятеро: Алейников, сам Кружилин, его заместитель Панкрат Назаров, бывший наборщик одной из новониколаевских типографий Корней Баулин и бывший городской извозчик Василий Засухин. Баулин, Засухин и долговязый парень Данило Кошкин после организации побега Антона Савельева, спасаясь от лап белогвардейской контрразведки, вынуждены были, по совету Субботина, скрыться из города. Оказавшись в громотухинских лесах, они год еще назад пристали к кружилинскому отряду. Теперь Баулин, немногословный человек с изъеденными свинцом руками, был чем-то вроде начальника штаба. Засухин ведал продовольственными делами в отряде. Кошкин служил в эскадроне Федора.

Вставало где-то солнце, золотило каменные вершины. На дне котловины, усеянном шалашами и палатками, было холодно, как в глубоком колодце, при дыхании изо рта вырывался парок. Росы не было, однако со дна котловины поднимался туман, лизал отвесные скалы. Меж шалашей и палаток паслись лошади. Партизаны, просыпаясь, кое-где разводили костры из сырых веток.

Яков Алейников излагал свой план убежденно и весело, будто осуществить его было проще простого. Но все понимали: на словах гладко, а на деле может получиться совсем другое. И молчали пока, думая.

– Да-а, – протянул наконец всегда осторожный Корней Баулин. – Оно у тебя ловко все, Яков. И вышло бы ничего, кабы драться было чем. А вдруг кому удастся с полуэскадрона этого на коня все же да в Михайловку? Поднимет полк, а мы только с дыры этой каменной выползем. В лапшу нас искрошат.

– Риск, – согласился Яшка и пожал плечами, как бы удивляясь, что Баулин этого не понимает.

– Или заставу на Огневской дороге не удастся целиком снять, – подал голос Назаров. – Подадут сигнал на заимку, эскадрон прискачет, за ним – пешая рота, заткнут дорогу на топях. А с тылу и весь полк подоспеет. А? Тут не то что в лапшу – в кашу перемешают. Или сами в болоте и перетопнем.

– На войне всегда риск, говорю, – хмуро ответил Алейников. – Ну, предположим, с заимки и эскадрон и рота подоспеют. Сомнем с ходу. Сомнем! Им ведь тоже на узкой дороге не шибко развернуться. Десятка два гранат у нас еще осталось. Закидаем и прорвемся, хотя много людей потерять можем при таком повороте. Главное – с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж? Упустим хоть одного если, уберемся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо!

Да, пробовать было надо, это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятых уже похоронили, скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки, на лошадином мясе можно было продержаться ну еще две недели, ну пускай даже месяц. А потом что? Голодная смерть...

Около часа рядили так и сяк. Засухин высказал предположение – в течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Алейников, по одному, по двое скрыться, рассосаться по окрестным лесам и деревушкам, а потом где-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли: стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса (а люди в отряде всякие) – и конец отряду, этот единственный путь спасения будет отрезан, новое место сосредоточения будет известно... Да и раненых в отряде порядочно – как с ними?

Еще через час план Алейникова был обсужден на общем собрании отряда и принят.

* * *

К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой, облаками – погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Алейникова еще засветло опустили вниз на веревках и вожжах ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вел людей по глухому ущелью, потом – сквозь какие-то заросли, и наконец они оказались у самого подножия Звенигоры.

Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из Зеленой котловины, ликвидировали бесшумно, изрубив спящих людей шашками. Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок, но тут же были уложены Алейниковым. Одного он наискось рубанул шашкой, другого, кинувшегося бежать, достал пулей из маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам.

А Поликарп Кружилин уже вел отряд по узкому карнизу из котловины.

При свете разложенного еще белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через расселину, четверо бросились ловить стреноженных неподалеку лошадей.

– Ловко, а! Вот они, все двенадцать, – возбужденный еще схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через расселину. – Ты давай поспешай с отрядом, а я пулеметную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро.

– Гляди, Яков, – сказал Кружилин тревожно.

– Ништо. Я выведал, как подобраться к ним. Веди людей смело.

И с десятью партизанами ускакал в темноту.

Все было пока тихо, фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооруженному настилу через пропасть, суетились люди. Часть брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, часть изрубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых, растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту.

На душе у Кружилина было тревожно – чем-то кончится их дерзкий план? Ведь они безоружны, беспомощны, стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, блукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу... В плане Алейникова это не предусмотрено, а ведь может случиться. И тогда...

Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз.

Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью, потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился – все-таки лес. Скоро и Журавлиные болота, а от Яшки ни слуху ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулеметную заставу?

Алейников появился из темноты неожиданно и бесшумно, будто лошадь его не ступала по земле, а летела по воздуху.

– Порядок! – воскликнул он, и Кружилин облегченно вздохнул. – Сонные тетери! Вымокли только все мы, вплавь пришлось к ним подбираться. Во что бы переодеться мне?

– А пулемет ихний?

– Порядок, говорю. И коробок с лентами – десятка полтора!

Это было уже почти спасение. Теперь если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке при Зубове эскадрон и пехотинцев и скрыться в таежных дебрях, начинавшихся сразу за Журавлиными болотами.

* * *

«Батьку повесили... Батьку!» – весь прошедший день звенело в голове у Федора. Он ушел в палатку, лег там и лежал до вечера не шевелясь. Анна трижды – утром, в обед и вечером – приносила ему жиденькую мучную похлебку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы:

– Уйди.

Выбираясь по каменному карнизу из Зеленой котловины, Федор оступися, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадыю. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Федор спокойно сказал:

– Тихо. Рано мне еще погибать.

А про себя стал думать: «Да, рано... Только бы до Огневской заимки добраться! Ванька, может, там. Раз Кафтанов там, и Ванька должен при нем быть... Доберусь я до тебя, сволочуга!»

Потом эта мысль о брате Иване уже не покидала его.

Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засияло бы, а сейчас, заложное тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы – Федору это неважно было. Заимка – вот она, блестит недалеко за деревьями тусклый ночник в каком-то окошке. Уже вынули партизаны шашки, и Федор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру нагана. А Яков Алейников все говорит про какие-то сараи, где спят белогвардейцы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошаденке, как всегда, рядом с ним, шепчет, как всегда, вполголоса: «Федя, берегись, ради бога, осторожней...» А для чего ему остерегаться, на черта этот полковник Зубов?! Только бы ему с братцем Ванькой встретиться! Где Кружилин или Назаров, чего не подают команды?

Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарывая тишину, пулемет, ухнул гранатный разрыв. Ночник в кафтановском доме мигнул и разгорелся еще ярче. «Впере-од!» – заорал визгливо Яшка, и Федор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь:

– За мно-ой!

А потом все слилось в тяжелый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Федор метался по освещенному двору заимки, рубил словно специально наскაკивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искаженные боем лица Данилы Кошкина, Кирияна Инютина и других бойцов его эскадрона, скакала следом в неизменной своей кожанке, с наганом в руке Анна. Она всегда, в любом бою, в любой рубке, находилась рядом вот так же с наганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти.

Неожиданно Федор почувствовал: Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгоряченную лошадь, оглянулся. И увидел: в полусотне шагов от него бился застреленный под Анной конь, сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данило Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, в Анну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардеец. «Убьет ведь, убьет!» Федор выхватил из кобуры наган. Но выстрелить не успел – из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел Алейников, в отсветах пламени бесшумно, как всплеск молнии, блеснула его шашка, белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладывался спать. А Яков дико закричал:

– Федор, за окнами глядеть! В доме Зубов с Кафтановым, не упустить!

И, спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Федор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были темными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело, по белой занавеске

веске метались какие-то тени. Федору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось, но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, плечом саданул окно, рванул и отбросил легкую занавеску...

И, стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стекла, зарычал торжествующе: перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с маузером в руке Кафтанов, в углу – какой-то рослый худой человек с обнаженной шашкой, в наспех накинутом полковничьем кителе, к нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитой по росту, только без погон, а у дверей – он, брат Ванька! Ванька тоже был вооружен, опустив руку с наганом, удивленно, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами...

* * *

Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях Громотухи барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю.

Шла в отлет птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком.

Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову, эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверек, на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил караульный, то ходил взад и вперед, то садился на завалинку, курил, часто сплевывая на землю.

В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого, вместо серых глаз – холодные клочья перегоревшего пепла. Только черные зрачки еще не перегорели, еще пылали и больно жгли Ивана.

– Не гляди так, Анна, – попросил Иван, еще ниже опуская голову.

– А как на тебя глядеть? – иссохшие ее губы шевельнулись брезгливо.

Иван замотал головой, застонал:

– Размолоча ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор сапогом!

– Гляди – зайдешься и не отойдешь.

– Обвенчаемся, Ань! – умоляюще крикнул Иван, вставая. – Жить будем – ветру не дам пахнуть на тебя.

– Нет уж... Лучше в петлю пускай меня, как отца твоего.

– Анна!

– А ты посильнее попроси любви-то моей, – насмешливо сказала она. – Кто знает, может, выпросишь!

Такой разговор происходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припеке. Крики улетавших журавлей были здесь явственнее, громче и оттого казались еще тоскливее.

Деревушка Зятькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре, редкие, беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось: дунет пошибче ветер – и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зятькову Балку – глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу.

На косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший михайловский староста Демьян Инютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды.

Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфеново, сообщил, что туда нахлынули партизаны.

– Обкладывают опять, сволочи! – выругался Кафтанов и, никому не доверяя, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфенове партизан, взяв с собой самых верных людей.

Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым.

– Сторожем и женихом оставляю, – усмехнулся Кафтанов. – А к утру чтобы мужем стал.

Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кафтанов глянул на него красными от бессонницы глазами:

– Ну? Зятем, что ли, назвать можно?

– Не соглашается она.

– Я ж позволил – силком бери ее, сучку...

– Не могу я так. Не могу, – мотнул головой Иван.

– С-сопля! – Свалявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась. – Ну, не обес-судь. Я свое слово выполнил.

Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом, Демьян Инютин ловко перекинул через коня пристегнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, ковыляя, переваливаясь, как утка, повел всех лошадей под навес. Проходя обратно, он сказал:

– Сумной ты давно, гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебя доколо-вертит, а? Вот об чем бы Михаилу Лукичу подумать.

И, подождав чего-то, прибавил:

– Только знай – у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь.

– Ты-ы! – взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку...

...Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал, давно...

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес, Иван для порядка, чтоб услышал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сидел на пеньке и долго думал: как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот... «И за что воюю-то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему виду, не отстоять теперь свое богачество ни Кафтанову, ни кому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибель так и так мне. А за что?»

Вскоре прибыл для разгрома Кружилина зубовский полк, начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользающими партизанами. Для дум у Ивана не оставалось как-то времени. А потом... потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться, – казнь отца и этот неожиданный, страшный налет на Огневскую заимку партизан, непонятно каким образом – по воздуху, что ли?! – выбравшихся из Зеленой котловины...

...Когда забил где-то пулемет, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привернутой лампе, хотя, может, ее надо было совсем потушить.

– Что? Кто?! – вскричал Кафтанов.

Из соседней комнаты в одних кальсонах выскочил Зубов, тоже закричал:

– Что? Что это такое?!

А там, за окном, уже вразнобой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий, глухой звон лошадиных копыт.

Больше никто ничего не говорил, все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов скрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастегнутом еще кителе.

– Как это случилось? – закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить.

И тут со звоном посыпались стекла, в черном проеме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Федор.

Иван давно выдернул наган, но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены Кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в нее, закричал:

– С ума сошел! Не стрелять! Не стрелять! – и повернулся к Федору, спрыгнувшему уже в комнату: – Я сдаюсь. А это единственный сын мой, Петр. – И он чуть толкнул мальчишку к Федору. – Надеюсь, ребенка вы пощадите.

В эту секунду в черном проеме окна возникла новая фигура. «Анна!» – обожгло Ивана.

Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом Кафтанов и не целясь выстрелил в дочь. Она бесшумно осела, повалилась на бок.

– Анна!

Это не он, Иван, закричал, и вообще никто не закричал. Это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла.

И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень в сбитой на затылок кожаной фуражке – Яков Алейников.

– А-а, полковник Зубов! – закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле, взмахнул шашкой.

Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Алейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Алейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган. Но вытащить не успел, Зубов перегнулся через стол и достал Алейникова шашкой. Схватившись за лицо, Алейников упал навзничь.

Пока это все происходило, кто-то дернул Ивана, прохрипел в ухо: «За мной, живо!» Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал – неизвестно, хотя Федор, кажется, стрелял в него. Ну да, стрелял, раз – в него, раз – в метавшегося по комнате Зубова. Пули липли в стену, совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Федор попал, кажется, в Зубова, тот выгнулся горбом, оседая. Но не упал, а стал подниматься. Федор хотел выстрелить еще раз, но боек нагана только щелкнул – кончился барабан. Тогда Федор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Алейниковым. Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова. Прокричал и замолк.

– Что ж не стреляешь, иуда? Стреляй...

Это, тяжело дыша, говорил Федор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится прямо во взмокший лоб брата.

– Брат все же ты мне, не буду стрелять, – сказал Иван.

Иван говорил правду, он не выстрелил бы, кинься даже на него Федор со своей страшной шашкой. «Анна, Анна, Анна!» – будто стучали ему молотком по голове. И сквозь больной звон этих ударов пробивалась ясная, отчетливая мысль: коли нет больше Анны – зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Федор. Взмахнет шашкой – и все кончится. Все, все... И – хорошо... Но тем не менее целился зачем-то сам в брата. Зачем?

Федор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял, сжавшись, сынишка Зубова. «Да, вот зачем... – вспомнил Иван. – Зарубит ведь мальчонку...» И крикнул:

– Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чем ребенок.

– А-а, гад! – прохрипел Федор. – Сам гад и об гадючих выползках заботишься?! Ты отца бы родного лучше пожалел! Вспомнил бы, как они его...

И рванулся к мальчишке. Иван бросился наперерез и в ту секунду, когда Федор со свистом опустил шашку, с разбегу толкнул Федора в плечо. От толчка Федор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно, последним криком закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которые текла кровь, корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил, но не в Федора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило, потому что в проем окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшись о застонавшего вдруг Алейникова («Жив, оказывается», – отметил про себя Иван), он схватил мальчишку и выбежал из дома.

Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в черном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улета в темную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы.

Пробегая по двору, Иван все дожидался Федоровой пули в спину, однако погони за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с веслами, в одну из них Иван кинул Петьку Зубова. Оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие и, разбивая веслами плывавшие от пожарища на черной масляной воде огненные блики, торопливо погреб к другому берегу, в темноту...

– Ты-ы! – взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку.

– Дурак, – спокойно ответил Инютин и ушел, глубоко протыкая землю деревянной ногой.

Иван снова сел. Дурак, это верно. Зачем той ночью не дал себя зарубить Федору, не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да еще не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца? На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял – это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов вышел из зарослей, обрадованно сказал:

– Ванька? Молодцом! Эко обмарались мы! Как же они, сволочуги, из каменной дыры выползли?

У Петьки Зубова была немного рассечена щека, он скулил, как щенок, Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво:

– Совсем, голубок, сиротой остался. С трех годков, рассказывал полковник, без матери рос. Куда же его теперь? К Лушке, что ли, отправить? Пущай с Макашкой моим вместе живут. Друзьями, может, будут.

Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таежной глухомани, поручив его заботам разбитной и развратной михайловской бабенки Лукерьи Кашкаровой.

– Верно, отправлю-ка его к Лушке, – повторил Кафтанов. – А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха. А то светает уж. Неужель весь полк и наших людей в Михайловке партизаны похлестали? Чем и как? Не должно быть. А все же нам надо обнюхаться. Береженого бог бережет.

– Анну-то, Анну зачем ты? – невольно вырвалось у Ивана.

– Ну! – сухо прикрикнул Кафтанов. – Переживешь. Ее, сучку, не пулей бы, на куски бы раздергать. – И пошел от берега.

Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину Кафтанова, и ему хотелось выдернуть из кармана наган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое, ненавистное тело. Непонятно сейчас Ивану, почему не осмелился, такой был удобный момент. «Да и вообще, мало ли их было, таких моментов? – усмехнулся он кисло. – Дурак потому что, как сказал Инютин».

Тем утром, когда совсем рассвело, они вышли на таежную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колесами, и поняли, что здесь на восток, в заогневские леса, прошел отряд Кружилина.

Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооруженные.

Бывший зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменились, теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его все дальше в верховья Громотухи, пока он не оказался в этой самой Зятьковой Балке.

Иван все так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он еще более похудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив.

– Да не сохни ты! – сказал ему Кафтанов уже тут, в Зятьковой Балке. – Живучей кошки она, Анна твоя, оказалась.

– Как? – не понял Иван.

– А так, живая... Надо было мне еще разок-другой влепить ей. А раз живая – я от своего слова не отказываюсь. Поймаем ее.

– Как? – еще раз переспросил Иван.

– Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж. Михаил Косоротов, когда отозвали зубовский полк, остался в отряде Кафтанова.

– Куда уехал? – все еще никак не мог понять Иван.

– За Анной. Имеем сведения – очухалась она от моей пули, ездит сейчас по деревням, пимы да рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит ее где-нито.

И Косоротов «прижучил». Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из ее рта.

– Получай, – сказал он Кафтанову.

– Анна? Анна! – вскричал Иван, подбегая.

– А Кирюхи моего не было с ней? – спросил Демьян Инютин. – Его бы, свиненка, достать ишо мне. – И, потоптав землю деревяшкой, добавил непонятно: – А на этой я бы не Ивана... я бы сам на ней женился.

Анна, со спутанными волосами, посиневшая, полузадохнувшаяся, лежала в пыли. Иван хотел развязать ее, помочь встать. По она сама поднялась на колени, вскинула голову, поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот...

* * *

Бой в Зятьковой Балке Кафтанов принимать не стал, увел своих людей за два десятка верст, в деревню Лунево. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну Инютину привести к себе дочь из амбара, где ее держали теперь под замком.

– Значит, не хочешь за Ивана выйти? В последний раз задаю вопрос.

– Не надо, – сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы. – Не выпросишь ведь действительно. Отпусти ее, Михаил Лукич. Пускай...

– Что? Значит, отказываешься от нее?

– Я помер бы за нее. Да что... Она и крошки не отломит.

– Какой такой крошки еще? – рассердился Кафтанов.

– Я вообще. Не выпросишь, говорю. Отпусти ее. А я вдвойне тебе отслужу.

Кафтанов бросил деревянную ложку, упер взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной кофточке и черной измятой юбке, в мягких сапогах, голенища плотно облегали полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос.

Высокая и стройная, она хороша была и в этом грубом наряде.

– Ничего, гладкая кобыла выросла, – усмехнулся Кафтанов.

Анна еще ни звука не промолвила и на эти слова никак не отозвалась.

– Ну а ежели отпущу, к партизанам опять уйдешь? – спросил отец.

– К ним, – подтвердила Анна, разжав наконец губы.

Кафтанов задыхался тяжело, на потных висках вздулись вены.

– Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь, – заговорил он неожиданно тихо. – И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы еще маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась, у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли?

– И из-за него тоже.

– А еще из-за чего?

– Не знаю. Это не объяснить так легко, в двух словах. – Длинные брови ее нахмурились, потом, дрогнув, развернулись, как крылья, плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро, толчками вздыматься. – Ты жил... Ты мать мою этой своей жизнью в петлю загнал! Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь – человечья! Вот... потому я там, в партизанах, наверное, что... что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огневской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая... такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят...

– Ой ли? Гляди, не ошибись.

– Установят! А вас выметут с земли, как сор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас...

– А и установят – тебя-то пустят ли в эту жизнь! Рано или поздно припомнят, чья ты дочь.

– Припомнят... всегда будут помнить, не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван, – повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой, – ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя... не перенесла такого горя она...

– Мать? Мать... – Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок жжет ему пальцы.

– Замолчи-и! – Кафтанов трахнул о край стола тяжелой глиняной миской – будто звонко лопнуло дерево на морозе, под ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к ее горлу волосатые руки.

– Михаил Лукич! – закричал Иван, звякнула выдернутая им шашка.

– Ты... что... это?! – раздельно, в три приема, выдавил Кафтанов.

– Да ведь дочь это твоя. Отпусти ее. Пусть идет куда хочет, – в третий раз сказал Иван, вытер взмокший лоб, бросил в угол шашку.

Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел.

– Ну что ж, пускай идет... Пускай приведет сюда партизан.

– Мы снимемся отсюда, дальше уйдем. Кто нам мешает?

– Тоже верно рассудил... – Кафтанов говорил, а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери. – С Федькой-то живешь, что ли? – спросил бесстыдно.

– По своей мерке все меряешь. – Анна запахла на груди кожанку. – Я не скотина какая-нибудь, как... чтоб без свадьбы.

– Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?

– А ты не беспокойся, мы тебя позовем, – насмешливо сказала Анна.

Кафтанов держался толстой, в желтых волосах рукой за край стола, будто собираясь отломить кусок тяжелой, залоснившейся до твердости камня доски и запустить обломком в дочь.

– Ладно... Эй, кто там, увести пока! А ты горяч, сразу за шашку, – сказал он Ивану, когда Анну увели.

– Ты ж хотел ее... Мне почудилось...

– Тебе не все равно, коль она...
– Не все равно, – сказал Иван, не поднимая головы.
– Слюняй ты в таком разе, – усмехнулся Кафтанов. – Ну, дело твое. А мне что – отпущу.
С Федькой пушай живет, с другим ли каким жеребцом...

* * *

В течение ночи Иван не сомкнул глаз. «И мать... Тоже, считай, повесили ее», – думал он, лежа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу.

В окна заструился серый утренний сумрак.

Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов.

– Спишь, Иван? – тихо проговорил он. – Пойду посты проверю.

И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом взял в руки сапоги, зашлепал к двери босыми ногами, вышел.

Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было – в последнее время, где бы ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана с новой силой окатили испуг и тревога.

Эта непонятная и безотчетная тревога возникла у него еще вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ошупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вел себя странно, не так, как обычно. Прежде чем лечь, он долго ходил по избе, о чем-то раздумывая. Временами широкий ноздрястый нос его раздувался, подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал, завалился на кровать и сразу захрапел.

А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его...

Иван вскочил, побежал к окну.

По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке угол амбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряженный ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Все это Иван не увидел даже, а догадался, сердце его заколотилось. «Куда они ее? Отпускают, что ли? А говорил – посты...»

Иван все глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей (по фигуре – сам Кафтанов) тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе.

Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув суконную тужурку, метнулся к дверям.

– Куда? – раздался голос Демьяна Инютина.

– Пусти! – Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперед, как копьё, свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, осел. А когда опомнился, Инютин стоял над ним с наганом.

– Далеко наострился-то, спрашиваю?

– Куда... куда он Анну повез?

– Отвезет, куда надо, скажет отцовское слово и отпустит. И мы сымемся отсюда через час. Ну-ка, руки назад! И ступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знает. В амбар, говорю, ступай. Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздую.

Иван покорно заложил руки за спину, пошел.

– На смерть... на смерть он ее повез.

– И это его дело, отцовское. Иди, иди!

Они уже были возле амбара. Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжелые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал наган, со всего размаху саданул в висок. Инютин охнул только, дернулся и затих.

Иван вскочил, постоял в растерянности. «Убил, что ли? Неужели убил?!»

Бывший Михайловский староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери, не замкнув даже болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню.

Из Лунева выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов – неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты.

На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, ни кто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал:

– Атаман-то? Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повез ее, Ванька?

Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете.

Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если бы не его жеребец. Верст пять или шесть жеребец стлался по пыльной, разъезженной дороге, а потом, несмотря на то что Иван безжалостно хлестал его плетью, начал сбавлять ход и вдруг, вскинув голову, пронзительно заржал. Откуда-то чуть сзади и сбоку тотчас откликнулась кобыленка. «Кафтановская!» – мелькнуло у Ивана. И он повернул своего коня. Жеребец, будто понимая, что желания его и хозяина совпали, послушно рванулся назад, сиганул в сторону, через низкорослые кусты, вынес Савельева на полянку, всеми копытами заскользил, останавливаясь, по росной траве.

На краю поляны под развесистыми черными соснами стоял запряженный ходок, немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея оголенными ногами, а Кафтанов бежал от нее прочь, как-то боком, чуть пригибаясь, брэнча ременными пряжками, вырывая на ходу из деревянной кобуры длинноствольный маузер.

Вся эта картина открылась Ивану за одну какую-то секунду, и еще менее чем за секунду он понял, что здесь произошло. И в то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлало чем-то едким и горячим.

В себя он пришел от слов Кафтанова:

– Молись, Ванька. Что увидел тут – с собой унесешь. Этого никому не надобно знать на земле...

Перед Иваном начало проступать сквозь светлеющую черноту красное, взмокшее лицо Кафтанова. Он стоял в трех шагах, левой рукой застегивая тужурку, а правой выставив на него черное, задымленное дуло маузера.

Когда он, Иван, соскочил с лошади, как оказался напротив Кафтанова – Иван не помнил.

– Ты... ты... Как ты мог? – выдавил он.

– Этого тебе не понять. А ей – известно. Что прискакал сюда – дурак. Жил бы...

Иван отчетливо понимал, что сейчас будет застрелен. В кобуре у него тоже было оружие, но Кафтанов не даст времени его выхватить, не позволит даже шевельнуться. И стоял неподвижно, свесив длинные руки, на одной из которых болталась короткая кавалерийская плеть.

Вот уж дрогнул, качнулся черный зрачок кафтановского маузера. «Сейчас, сейчас!» – молнией блеснуло у Ивана в голове. И, ни на что не надеясь, он стремительно взмахнул своей плетью, хлестнул Кафтанова по лицу, кинулся на него. Кафтанов выстрелил – будто кто оглоблей ударил Ивана по плечу. Не понимая, убит он или только ранен, не видя, что Кафтанов закрыл ладонью глаза, Иван опять взмахнул плетью, хлестнул на этот раз по руке с маузером. Оружие выпало. Иван бросился на Кафтанова, вцепился в его колючую, волосатую шею и, упав вместе с ним на землю, стал давить.

– Ванька... Иван! – прохрипел Кафтанов, болтая головой, царапая бородой его лицо.

Кафтанов был сильнее, он уперся в грудь истекающему кровью Ивану и легко отшвырнул. Но встать сам не успел. Иван схватил валявшийся на траве маузер, снова кинулся на при-

поднявшегося Кафтанова, с ходу опрокинул его на спину, изо всех сил вдавил дуло маузера ему в грудь, два раза прижал гашетку...

Выстрелов он не услышал. Он слышал лишь, как всхрапнули лошади, как они шарахнулись на другой конец поляны.

* * *

Солнце давно поднялось, нежарко сияло над лесом. Дул ветерок, тихонько подсушивая росные травы.

Лошади давно успокоились. Они стояли голова к голове, кафтановская кобыла терлась щекой о плоскую морду жеребца. Скоро тому надоели, видно, эти ласки, он отошел и начал щипать траву.

По развесистой сосне над ходком прыгала белка, осыпая вниз желтые, отмершие хвонки.

Кафтанов мирно лежал в траве. Он будто заснул, раскинув в стороны руки. На краю поляны, куда не хватало еще солнце, все так же безмолвно, не шевелясь, лежала на спине Анна. Иван сидел подле нее, смотрел куда-то перед собой не мигая, пустыми глазами.

Из плотно закрытых глаз Анны текли и текли не переставая слезы. Левое плечо Ивана было окровавлено.

Если бы не эти слезы да не окровавленное плечо – ничто бы не говорило, что полчаса назад здесь разыгралась человеческая трагедия. Казалось, просто трое путников остановились тут для отдыха, двое уже спят, лежа на траве, а третий охраняет их покой.

Так прошло еще с полчаса. И вдруг Анна приподнялась и, страшная, растрепанная, закричала не своим голосом:

– Зачем помешал?! Он хотел застрелить меня потом... Зачем помешал?! Застрели сам теперь! Застрели меня, застрели меня!!

И упала, покатила по траве, завывала по-звериному, колотясь растрепанной головой об землю. Иван ее не успокаивал, сидел все так же неподвижно. Только когда она, обессиленная, затихла, он сказал негромко:

– А все равно, Анна, жить надо. Об этом... никто никогда не узнает, Анна. А жить надо...

* * *

Вечером того же дня в Зяткову Балку, занятую партизанами, въехали дрожки. Их окружили вооруженные люди, кто-то крикнул:

– Анна! Глядите-ка, Анна ведь это пропавшая наша! Федор, Анна твоя объявилась!

Из избы, напротив которой остановились дрожки, вышли Кружилин, Алейников и Панкрат Назаров.

– Что здесь такое? Откуда ты, Анна? – спросил Кружилин, подходя. И, узнав Ивана, собрал складки на лбу. – Савельев?!

– Я...

– А-а, сам явился, бандюга кафтановская! – закричал Федор, протискиваясь через толпу. Иван здоровой рукой сбросил зачем-то с дрожек на землю труп Кафтанова и сказал:

– Вот вам наш атаман... мертвый только. Вот сам я, делайте что хотите. – И сел на траву рядом с телом Кафтанова. – Пулю – так пулю в лоб. Только скорее давайте.

– Это у нас не задержится, – дернул свежим еще рубцом на щеке Яков Алейников. – Ну-ка, пойдем в избу. Разберемся – да к стеночке.

Иван встал и пошел, горбясь. Анна, отрешенная и безучастная ко всему до этого, встрепенулась, оттолкнула подошедшего было к ней Федора.

– Не надо! Не надо! Вы и вправду разберитесь! Не надо... – закричала она истошно, черной птицей подлетая сбоку то к Кружилину, то к Алейникову, то к Назарову, которые уводили Ивана в избу.

Часть первая. Братья

Глянув на скрипучие жестяные ходики, Димка сорвался с кровати: стрелки показывали без десяти минут семь.

Село купалось в тумане.

Над сырыми крышами ближайших домов неясно маячили верхушки деревьев. А дальше все тонуло как в молоке, не было даже видно пожарной каланчи, что стояла на взгорке в конце улицы.

Димка, в трусах и майке, стоял, поеживаясь, в огороде, смотрел через скользкий, почерневший плетень то направо – в усадьбу Инютиных, то налево – во двор Кашкарихи. Однако ни Кольки Инютина, ни кашкарихинского Витьки не было видно. «Дрыхнут, дьяволы, – зевнул Димка. – Нарыбалили седни...» И пошел умываться к Громотушке.

Щедро вымахавшие кукурузные стебли сыпали на плечи росой, как угольками, мокрая картофельная ботва обжигала ноги. Они занемели, покрылись жесткими пупырышками – точь-в-точь как у огурцов.

Подбежав к речушке, Димка сел на кладку и спустил ноги в теплую воду, на песчаное дно. Тотчас мелкие пескаришки начали щекотать пальцы, тыкаться в икры.

– От вы... – пошевелил пальцами Димка.

Пескаришки брызнули веером прочь, остановились в полуметре от Димкиных ног, подумали, пошептались вроде и осторожно, но все враз двинулись обратно.

Удивительная она, эта речка Громотушка. Светлая, как стеклышко, неширокая, в иных местах всего до полметра, с неглубокими, под навесом перепутанных ветвей омутками, эта речушка, почти ручей, берет начало где-то далеко за Шантарой, в Алтайских горах, вливая, течет через всю степь, до самого села. Степь голая, ни одного кустика, только вздымаются на ней местами лысые унылые холмы, а берега Громотушки, каждый метров на сорок в степь, буйно поросли всяким разно-деревьем и кустарником. Есть и осина, и береза, и калина, много черемухи, несметное количество смородинника. Но больше всего развесистых плакучих ив, которые в Шантаре называют ветлами. И все перевито хмелем, ползучей ежевикой, всякой повителью.

Заросли эти называют Громотушкины кусты. И хоть заросли неширокие, повернись в любую сторону – и сразу выйдешь на чистое место, на простор, в иных местах такая глухомань и жуть, что шантарских баб-ягодниц берет оторопь. Тогда они, рассыпая из ведерок ягоды, оставляя на цепких ветках лоскутья одежды, как ошалелые выскакивают в степь и жадно глотают там горьковатый полынный воздух, прижав ладонями груди.

Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты. Ненароком, может, и приходят на ум иной ягоднице, забравшейся в самую чашобу, эти тайны. А может, чудится им вдруг останавливающий кровь, зловещий крик лохматого лешего, испокон веков живущего, по преданию, где-то возле самого большого на Громотушке омута, отчего он прозывается Лешачиным. Находились в Шантаре люди, которые утверждали, что не только слышали этот страшный крик, но и видели, как по утрам и на закате вспучивается страшный омут, кто-то черный и огромный ворочается в густой, застоявшейся воде, разгоняя во все стороны тяжелые волны.

Возле деревни Громотушкины кусты редуют. Осины да березки остаются позади, скоро покидает Громотушку и калинник. А речка все бежит и бежит вперед, через деревенские огороды, через неширокие улицы. Теперь ее сопровождают только ветлы, они по-прежнему низко, до самой земли, кланяются своей благодетельнице и повелительнице.

За деревней Громотушка выбегает на низкую луговину – здесь ее встречают непроходимые заросли осоки и камышей – и неслышно вливается в широкую, многоводную Громотуху.

В Громотухе полно всякой рыбы, а в Громотушке – только эти песчарики да в верховьях, по омуткам, хариусы. Могучая Громотуха зимой намертво замерзает – в иные годы лед бывает метра в полтора толщиной, – а Громотушка никогда еще не покрывалась хотя бы сантиметровой ледяной корочкой.

Не могут завалить ее никакие сугробы – снег тает в неглубоких громотушкиных водах, как в кипятке, не может сковать ее мороз, всю зиму Громотушка парит, парит, белые клубы плавают над Громотушкиными кустами, как над жарко натопленной баней, а сами деревья стоят отяжелевшие, в мохнатых, обильных куржаках. Тронь любую ветку – она с шорохом осыплется заледенелыми иголками, точно разделенется наголо, но за три-четыре часа снова закуржавеет, размохнатится пуще прежнего.

Ничего не могут поделывать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьем, только обильнее куржак на деревьях – и все.

Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. «Ну, дрыхнут...»

В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как звали ее все соседи, торопливо побежала в стайку.

Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.

В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у нее был кухонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.

– Бабушка Лукерья... – сказал Димка, подходя к плетню. – Чо Витька там? Мы порыбальить сговорились...

– Кака рыбалка, кака рыбалка? – торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха. – Не пойдет седни Витька! Сорванцы, прости ты, господи...

И скрылась в сениях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. «От пошехонцы, – буркнул он про себя. – Днем на задвижке... Что это они вздумали?»

Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-желтые солнечные полосы. Полос было много – и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито шупают землю.

Неподалеку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.

– Внимание, говорит Москва, – звучно сказал диктор на всю деревню. – С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня...

«А какое в Москве утро? В Москве еще три часа ночи. Еще только-только начинает зориться», – подумал Димка.

Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Димка слушал и, хотя в далекой отсюда Москве была еще ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.

В огороде появился старший брат Семен, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошел к Громотушке. Минувя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, еще небольшую и бледную, и так, в зубах, донес ее до ручья.

Это был обычный Семкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел еще и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.

Прежде чем умыться, Семен пополоскал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:

– Ну, как?

– Чего? На руках-то? Подумаешь...

– Ишь ты, пшено... А ну-ка?

– Да запросто! – в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. «Шмякнусь на спину, как пить дать... – пронеслось у него в голове. – Картошку помну... Мать задаст...»

Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:

– Помни, помни картошку мне! Ди-имка!

И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлепнулся в картофельную ботву.

Мать вскрикнула. Димка увидел ее испуганные глаза над своим лицом, вскочил.

– Ну?! Ну?.. – дважды дернула его за руку мать. И повернулась к Семену: – Чему ты ребенка учишь? А ежели он руки али шею сломает?

Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.

* * *

За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантьевич не терпел за едой разговоров.

Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых – десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:

– Ма-ам... Я пойду с ними рыбалить?..

Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.

– Да пустите вы его, не потеряем, – в конце концов сказал Семен.

Отец бросил ложку, сердито вытер черные, мокрые от лапши усы.

– Вот что, Семен, я скажу... В твои, считай, годы я уж эскадрона командовал, белякам головы рубил, – и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева. – А ты хоть и два года как тракторист, все в ребячьих пастухах состоишь.

Семен посмотрел на портрет деда. Отец очень походит на него – такой же большой лоб и сросшиеся брови, такие же усы над крупной нижней губой, нос прямой, с широкими ноздрями, густая, непокорная, рассыпающаяся во все стороны копна черных волос. Только вот подбородок у отца другой, чем у деда. У деда подбородок плоский с бороздкой посередине, у отца – крутой, крепкий, с выметом густой, тоже, наверное, железной крепости щетины.

– Так сейчас же, батя, не война... Вместо эскадрона у меня трактор...

Федор отвернулся к окну, закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном качалась зеленая и шершавая, в капельках утренней росы, голова собирающегося зацвести подсолнуха. Из центра его шляпки уже пробивались, как огненные струйки, несколько желтых лепесточков.

– Значит, на рыбалку?

– Воскресенье же, чего мне? А трактор свой я давно наладил, – проговорил Семен.

– И я давно свой комбайнишко наструнил. А товарищам не надо помочь? Или руки отвалются?

– Пушай сами. Бензином я и без того надышался, хочу речной свежести глотнуть.

– Ма-ам, я пойду с ними рыбалить? – опять затянул Андрейка.

– Ну чисто желна! – в сердцах сказала мать. – Отправляйся...

Андрейка кубарем свалился с табуретки, кинулся из комнаты. За ним – Димка.

– А то приучили их жар-то чужими руками загребать. – И Семен тоже поднялся.
– Кого их?

– Ну, к примеру, этого главного лодыря Аникушку Елизарова. Или пьяницу Кирьяна Инютина, дружка твоего. Их давно надо из МТС выпереть, а вы все им помогаете. Ну и везите их на своих плечах. А у меня совести не хватает. – И вышел.

– Дурак ты, дурак! – вслед ему сказал отец.

– Федя! – воскликнула Анна.

– А ты – сыть! Сыть! – зло закричал Федор. Походил по комнате, сказал спокойнее: – Не понимает Семка чего-то... главного в нашей жизни. Вот что обидно. Ну, пошел я. Заверни чего в обед пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.

Когда Федор ушел, Анна присела у окна, долго глядела на тот же собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветет, никогда не раскроет жаркое свое лицо навстречу солнцу. И фартуком вытерла бесшумно наплывшие слезы.

Она-то понимала, почему Федор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца – такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки – крепкая, уверенная, чуть вразвалку, и черные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности, зацепистые, как у самого Федора. А старший, Семен, был в нее – русоволосый, белокожий, сероглазый.

– В погребе, что ли, мы его с тобой сделали? Не помнишь? – часто говорил ей Федор, когда Семка начал подрастать. Говорил – и криво усмехался в черный колючий ус. И окатывало ее пронизывающим холодком: «Не верит... что его кровь... что он отец!»

Однажды она попыталась пристыдить мужа за его необоснованные подозрения. Федор слушал ее долго и внимательно. А когда понял, в чем, собственно, пытается убедить его жена, прихлопнул гулко по дощатому столу ладонью.

– Будет! Знаем... Не девицей тебя взял!

– Федор!

– Ну! – поднял голос Федор, бледнея. – Будет, сказано...

Он облокотился о стол, запустил пальцы обеих рук в густые черные волосы и сжал кулаки. Сидел так минуточку...

– Вот на чем, Анна, покончим... – сказал, поднимая на нее мутный, тяжелый взгляд. – Тебя, стерву, надо бы наискосок шашкой перерубить. А я тебя все же люблю. К тому же Димка вон родился. Этот – мой.

– А Семка чей? Федя?!

– На том покончим... – не слушая, загремел Федор. – Чтоб об этом больше молчок! Ни слова!! Ежели жить хочешь... в семье...

И жили они – другие и не скажут, что плохо. Федор был суров и малоразговорчив, а в праздник или день рождения обязательно какой-нито подарок сделает. По большей части пустяковый – бумажный платок или стеклянную брошку. Да в цене ли дело! И к Семке относился вроде ровно, ни в чем не выделяя от остальных детей. Но иногда, как вот сегодня, вроде бы ни из-за чего схватывался со старшим сыном. И еще ночами иногда находило на него что-то, он чуть не до света лежал холодный, не шевелясь, и Анна видела в полутьме сухой блеск его глаз. Она уже знала, что это значит. Наконец Федор молча и грубо тянул ее к себе, безжалостно, с остервенением, до синяков и кровоподтеков, мял ее небольшие груди, разламывал ее плечи. Она чувствовала, что он бессознательно мстит ей за Семку, что в нем просыпается что-то звериное.

– Федя! Федор!! – в страхе кричала она.

Это его будто отрезвляло, он затихал.

Анна не то чтобы не осуждала Федора – она понимала его муки. Семка – от него, от Федора. Она-то это знает. А его – не убедишь. И он имеет право не поверить...

Да, жили они – другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет – любит ли Анна мужа. И сама она этого теперь не скажет. Когда-то любила ошалело, без памяти, залила когда-то она Федора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Уж текут потоки воды по земле, уже залиты низкие полевые луговины, и лишь торчат над кипящей от тугих дождевых струн водой только высокостебельчатые ромашки да упругий остролистник, уже помутнела от дождя широкая Громотуха – а ливень все идет, все хлещет по земле со звоном...

Но вот чуть потоньше стали дождевые струны и пореже. Вот словно кто махнул поперек ливня огромным решетом, разрезал струны на капли. И хоть они капают вниз обильно, но это все-таки уже капли. Сперва скапали вниз те, что покрупнее, потом долго сыпалась мелочь. И наконец дождь совсем прекратился. Лужи по канавам и оврагам скатились все в ту же ненасытную Громотуху, а в заросших травой низинах вода потихоньку просочилась под землю, оставив на дне маслено поблескивающий на солнце слой ила. Ил, быстро высохнув, берется корочкой. Через несколько часов корочка эта трескается, кучерявится, как береста, и рассыпается от жары в пыль. Ветерок раздувает эту пыль, ворошит белые, недавно дрожливо стоявшие под ливнем ромашки, длинные стебли остролистника и прочее разнотравье.

Вспоминался иногда Анне свой последний разговор с ее проклятым отцом. «Чем хвалишься? Как скотина ты жил... – кричала тогда она в его ненавистное бородатое лицо. – А есть другая жизнь – человечья!.. А я хочу по-человечески жить...» – «Тебя-то пустят ли в эту жизнь? – насмешливо спросил отец. – Рано или поздно припомнят, чья ты дочь».

Никто не припомнил, чья она дочь. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось.

Сперва считала – виноват в этом ее отец-изверг. А потом начала подумывать: а только ли он?

* * *

Все улицы Шантары как бы стекают вниз, к Громотухе. Улицы разъезжены в пыль, а кривые переулки, по которым редко-редко проедет телега или грузовик, крепко затравенели, иные так поросли репьем и полынью, что через них едва можно было продаться.

И только главная сельская улица – шоссейка, как ее называют, – выложена булыжником, по бокам ее выкопаны канавы для стока вод, густо насажены тополя и проложены деревянные тротуары.

По этой-то шоссейке, пустынной в ранний воскресный час, шагали братья Савельевы и Колька Инютин по прозвищу Карька-Сокол – пятнадцатилетний долговязый подросток, похожий на вопросительный знак.

– А я сейчас через плетень гляжу – сестра тебе выговаривает, – сказал Семен. – Не пустит, думаю, на рыбалку парня.

– Не-е, Верка спросила только, куда мы идем удить. На громотухинскую протоку, говорю. «Мельницу»-то покажешь?

– Покажу, – промолвил Семен, думая о чем-то своем.

Выйдя за околицу, все четверо побрели начавшей рыжеть уже степью, миновали строй деревянных опор высоковольтной линии, крестовины которых были обрызганы птичьим пометом, и зеленой луговиной вышли к неширокой громотухинской протоке.

Здесь их и догнал запыхавшийся Витька Кашкаров, Димкин одногодок.

– Ты? – обрадованно выкрикнул Димка. – А твоя мать сказала, что не пойдешь!

– Мало ли что... – проговорил Витька, отводя в сторону невеселые глаза.

В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не было, метрах в трех покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем

их становилось все больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.

Все торопливо наживили крючки, жадно уставились на поплавки. От напряжения у Андрейки на облупленном носу выступили бисеринки пота. Лишь Витька Кашкаров все возился с удилищем, привязывая леску. Потом, кажется, забыл о своей удочке, обо всем на свете, – уставившись в одну точку, он глядел куда-то вдаль, за протоку, на остров, где росшие на небольшом обрывчике развесистые ветлы бороздили упругими ветками тугие струи.

– Е-есть! – вдруг заорал Димка и выдернул из воды небольшого подъязка.

У Андрейки от зависти екнуло сердце, он начал часто махать удилищем.

– Ты не торопись, Андрюша, – сказал Семен и бросил взгляд на Витьку. Тот, сидя на камне, все глядел на остров.

Зачерпнув в ведро воды, Димка кинул туда подъязка. Рыбина сильно забилась, разбрызгивая воду. Инютин воткнул свою удочку в песок, подошел, свесил над ведром крючковатый нос и еще больше стал похожим на вопросительный знак.

– Ничего, – снисходительно сказал он. – А на той неделе я под Звенигору ходил удить. Только забросил – кы-ык он хапнет! Удилище – крык! – напололам. Он и потащил обломок на середину. Я прямо в одежде сиганул за им...

– Не ври, – сказал Семен.

– Что не ври! Окунце был – во! Так и уплыл, гад. Не догнал.

– Откуда ты знаешь, что окунь? – спросил Димка.

– А кто же?! – обиделся Колька. – Он, зебра полосатый. Боле некому.

Андрейкин поплавок вдруг косо скользнул в глубину. От неожиданности Андрейка сперва сел в мокрый песок, потом вскочил, дернул удилище. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Андрейка, отступая, тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина – Андрейка чувствовал, как она билась на крючке, – старалась уйти вглубь. Таловое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубь.

– Порвет! Леску порвет! – закричал Витька, встрепенувшись, сбрасывая свое забытье. – Припусти чуть! Ослободи, ослободи ему маленько ходу! – орал он, не замечая, что вместо «ослободи» говорит «ослободи». – Да уйдет жа, уйдет жа...

– Не лезь! – тоненько вскрикнул Андрейка.

– Пушай сам. Не мешай ему, Витя, – проговорил Семен, с улыбкой наблюдая за младшим братом.

Димка и Колька, побросав удочки, тоже прыгали вокруг Андрейки, давали советы. Но тот их не слушал. Закусив от волнения язык, он продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил, видимо: будь что будет! – и из последних сил дернул удилищем. Чулкнул из воды поплавок, и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце желто-зеленой радугой, огромный окунце и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлепнулся на камни почти у самой воды. Андрейка вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу и облегченно, радостно засмеялся.

Потом все долго и завистливо рассматривали тупорылого горбача, по очереди держа в руках.

– Положите в ведро, уснет же, – будто бы потеряв всякий интерес к окуню, как можно равнодушнее бросал через плечо Андрейка, наживляя крючок. – Рыбы, что ли, не видали...

– Повезло тебе, братуха, – сказал Семен. – Такие громилы редко на червя берут.

– Подумаешь, громила, – промолвил Колька, опустив окуня в ведро. – Вот я прошлогод на Громотушке... Мы с Веркой за смородиной ходили. Ну а леска всегда при мне. Дай, думаю, с пяток хариусов поймаю, да уху на обед сварганим. Верка – она любит жрать уху-то, – зачем-то пояснил он и продолжал: – А ягоды мы обирали в аккурат недалеко от Лешачинового омута.

– Где, где? – оторвался от своего поплавок Семен.

– Что где? – заморгал Колька выгоревшими ресницами. – Возле Лешачинового омута. Там сморо-одины!! Прямо насыпью. Бабы-то ходить туда бояться... А Верка – она жадная на ягоду. «Пойдем, говорит, Колька...» Ну и пошли. Ты что, не веришь?

– Давай ври дальше, – бросил Димка, все еще заглядывая в ведро, сравнивая своего подъязка с Андрейкиным окунем.

– Сам ты... – повернулся к Димке Николай и обиженно замолчал.

Минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клева больше не было. Андрейка, чтобы сделать подальше заброс, зашел даже по пояс в воду. Каждый раз, наживляя свежего червя, он долго и старательно плевал на него, полагая, что от этого наживка станет вкуснее. Но все было бесполезно.

Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белесо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая белыми, в черных прожилках, крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.

– Так кого же ты поймал в Лешачином омута? – спросил Семен.

– Никого я не поймал, – буркнул Николай все еще сердитым голосом. Но немного погодя начал рассказывать: – Подошел я, значит, к омуту – жутко. Вдруг, думаю, лешак из кустов высунется? Сердце стукатит, как молоток. Верка где-то рядом по кустам шебаршит. Ну, подошел я, гляжу...

– Ну?! – в нетерпении выкрикнул Димка. – Лешак?!

Витька, забыв про удочку, тоже повернул голову к Кольке. Но смотрел ему не в лицо, а куда-то мимо, на небольшое пухлое облачко, неожиданно появившееся на горизонте, смотрел пустым и безразличным взглядом. Один Андрейка, стоя в воде, сильно наклонившись вперед, чуть не опрокидываясь в реку, по-прежнему держал удилище в вытянутой онемевшей руке и не отрывал глаз от поплавок.

– Гляжу – пара здоровенных хариусов ходит поверху. Ну, думаю, сейчас... Неслышно, чтоб не спугнуть их, заразов, махнул удилком. Наживка еще не погрузилась в воду – ка-ак они кинутся на всплеск обои... Какой-то из них, значит, сглотнул крючок и попер вглубь! И вдруг...

– Лешак в кустах захохотал! – крикнул Димка насмешливо.

– Я вам правду говорю, а вы... – мотнул коротко остриженной головой Николай. – Только хариус сиганул вглубь, ка-ак посреди омута поднимется водяной горб, как забурлит!.. Ну конечно, я испугался! По всему телу сыпучая дрожь окатила. А что?! Сами бы опробовали... А тут еще посередке омута во-от такой раздвоенный рыбий хвостик выметнулся. – И Колька чуть не во всю ширь раздвинул руки, показывая величину хвоста. – Да как хлестанет по воде – ажно брызги ливнем меня обсыпали. И тут же с такой силищей рвануло леску, что она только тренькнула...

– Оборвалась! – взвизгнул Андрейка, вышедший на берег, чтоб насадить на крючок нового червя. – А кто же это был, Коля? Щука?

– Не знаю, – вздохнул Колька.

– Щука, щука! – утвердительно проговорил Андрейка. – Батя как-то рассказывал, что в больших омутах на Громотушке живут и щуки.

– Может, и щука.

– Акула, наверное, – сказал, посмеиваясь, Димка. – Такие хвосты только у акул бывают.

– Разве ты поверишь! – обидчиво отвернулся Инютин.

В некотором смысле этот Колька был человеком необыкновенным. С ним всегда случались какие-нибудь приключения. То чья-нибудь собака оборвет ему штаны, то в школе, на

уроке, вдруг ни с того ни с сего у него в кармане бабахнет самопал, разворотив до кости мясо на ноге.

А года три назад он поспорил с ребятишками, что надергает из хвоста свирепого райкомовского жеребца Карьки-Сокола волос на леску. Жеребец был диковинным – сам карий, почти вороной, а грива и длиннющий хвост ослепительно белые, словно поседевшие. «Потому что меринос», – объяснял любопытствующим ребятишкам райкомовский конюх Евсей Галаншин, пускавший на ночь пастись жеребца за село. И, видя, что ребятишки не понимают мудреного слова, сердился: «Кыш отседова, воронье! Знаю ить, волосу хотите надергать. Он вам копытом-то дерганет по кумполу...» И, застегнув передние ноги коня прочными волосяными путами, удалялся, строгий и прямой как жердь.

Белый хвост Карьки-Сокола был мечтой. Но выдернуть из его хвоста хотя бы волосинку еще никому не удавалось. Он подпускал к себе только деда Евсея. Если приближался кто другой, жеребец вскидывал голову, скалил, как собака, длинные плоские зубы и угрожающе поворачивался задом.

Разрешать спор отправились поздно вечером, когда дед Евсей, по обыкновению, отвел жеребца на лужайку.

– Наблюдать с этого места, – сказал Николай, останавливаясь метрах в двухстах от жеребца. – Ближе не подходить.

– Почему? – любопытствовал Димка.

– Опасно, – небрежно кинул Колька. – Вдруг он рассвирепеет да кинется на вас? Растопчет, а я потом отвечай...

Это подействовало. Ребята остановились. Колька пошел к коню. Ребятишки наблюдали за ним затаив дыхание, бешено завидуя Колькиной смелости.

Жеребец, спокойно щипавший травку, при Колькином приближении вскинул голову, заржал. У ребятишек заекало от страха в животах. Но Колька, не останавливаясь, тихонько шел к коню, протянув руку. Еще через мгновение он стоял возле жеребца и спокойно гладил рукой плоскую щеку лошади. Ребята смотрели на такое чудо, разинув рты.

Никто из них не знал, что Колька целый месяц приваживал к себе жеребца.

Как-то, отгоняя утром корову в стадо, Колька заметил, что дед Евсей, прежде чем распутать и увести жеребца, скормил ему краюху ржаного хлеба. Карька съел хлеб и благодарно потерся щекой о заскорузлые от времени руки старика. Николай хмыкнул, сел на мокрую от росы траву и стал что-то соображать.

Вечером он пришел на лужайку с большим ломтем ржанухи. Едва старик, оставив спутанного жеребца, уковылял в деревню, Колька двинулся к лошади, протягивая на длинной палке ломоть хлеба.

Несколько вечеров Карька-Сокол шаркался от палки, скалил угрожающе желтые зубы и поворачивался задом. Но постепенно волнующий запах ржанухи, видимо, сделал свое дело, и однажды Карька осторожно взял с палки хлеб.

Через неделю жеребец брал хлеб уже из рук, а еще через неделю позволял себя гладить по шелковистой щеке.

Колька решил, что дело сделано и пришла пора удивить и поразить всех уличных огольцов.

Скормив, как всегда, краюху хлеба, тайно принесенную за пазухой, Колька с полминуты гладил Карьку-Сокола по щеке, потом похлопал по крутой и крепкой, как камень, шее, провел ладонью по лоснящемуся крупу. Жеребец вздрогнул, завернул голову, блеснув лиловым взлядом. «Чего ты, дурашка?!» – ласково проговорил Колька. Привычный голос, видно, успокоил, жеребец перестал дрожать, принялся щипать траву.

Колька, продолжая одной рукой оглаживать круп, другой осторожненько выбрал из хвоста прядку волос, намотал на кулак, стремительно отскочил назад и что есть силы дернул. Но

то ли конский хвост был очень крепок, то ли от жадности Колька захватил слишком большую прядь, только выдернуть ее ему не удалось. Жеребец заплясал от боли, вспахивая копытами землю. Колька шарахнулся было прочь, но руку накрепко захлестнуло конским волосом. Жеребец взбрыкнул задними ногами, чудом не расколол парнишке голову. Колька отскочил в сторону, пытаясь выпутать из хвоста руку. И в это время Карька-Сокол, изогнувшись, хватанул его оскаленными зубами за бок...

Когда ребята подбежали к Инютину, тот лежал ничком, не шевелясь. С оголенного бока свешивался кровавый лоскут кожи почти в ладонь величиной.

Застонав, Николай открыл глаза, сел и поглядел на свой бок, из которого хлестала кровь. Снял порванную лошадиными зубами рубаху, разодрал ее на узкие полосы, прилепил на место свесившийся лоскут кожи и молча принялся себя перебинтовывать.

– Ладно, пойду в больницу, – сказал он, поднимаясь.

Бок ему залечили, только на всю жизнь обозначился на смуглом Колькином теле подкообразный белый рубец. Да навсегда прилипла к Инютину после этого звучная кличка Карька-Сокол.

Несмотря на то что с ним то и дело случались подобные происшествия, Колька слыл хвастуном и безудержным вралем. Может, потому, что, рассказывая о действительных своих приключениях, он всегда что-нибудь преувеличивал, приукрашивал, а то и привирал.

Рассказав о случае на Лешачином омуте, он отошел в сторонку, сел на горячие камни и нахохлился.

– Это разве рыбалка! – крикнул Андрейка, вышел из воды и швырнул на землю удочку. – Совсем клёву нету.

Семен, стоя спиной к реке, глядел в степь, на дорогу. По ней шел какой-то человек. Он миновал столбы высоковольтной линии и на развилке повернул влево, в сторону от реки, на Звенигорский перевал.

– Димка, глянь, что там за дядька шагает по дороге в Михайловку? – проговорил Семен.

– Обыкновенно... С котомкой, в сапогах. А в руках палка, – сказал обладавший ястребиными глазами Димка.

– А не дядя это Иван?

– Да откеля ему? Он же в тюрьме!

При этих словах Витька Кашкаров, опять давно сидевший в сторонке, вскочил, глянул на уходившего к перевалу человека. И, сев на прежнее место, снова принялся угрюмо разглядывать потрескавшиеся от цыпок ноги.

– Почудилось. Плечи у него такие же сутулые, как у дяди Ивана, – проговорил Семен.

Солнце тяжелыми струями все полосовало землю, словно занялось целью расплавить ее. Раскаленные прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и теплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, еще полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больнично-белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Шантару.

– Вот что, рыбачки-мужички, – сказал Семен, сбрасывая рубаху, – до вечера клёва ждать нечего. Давайте искупаемся, а потом сварим уху из Димкиного подъязка и Андрейкиного окуня. Пока она варится, я покажу вам несколько приемов самбо. В том числе «мельницу».

Семен разделся, с полминуты постоял на горячих камнях под завистливыми взглядами ребят. Крепкое, с буграми мышц его тело отсвечивало на солнце медью. На широких, сильных плечах, сожженных солнцем почти до черноты, упрямо сидела чуть угловатая голова. И короткая шея, и широкие скулы, и крутой лоб – все было покрыто плотным загарным слоем,

лишь густые белые волосы солнце не в силах было сжечь, и они пламенели, как флаг, белым непотухающим огнем.

Постояв у самой кромки воды, Семен чуть присел, резко выпрямился, взмахнув одновременно руками, и казалось, неведомая сила легко оторвала и стремительно кинула далеко от берега, в прохладную глубину реки, его тяжелое тело. Следом за ним попрыгали в воду и остальные. Лишь Витька так и не тронулся с места. Сидя на берегу под палящим солнцем, он молча разгребал в мокром песке ямку.

Несколько минут ребята плавали у берега, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг. Первым вылез на берег Семен, не одеваясь, порылся в карманах брюк, закурил. С его остуженного водой тела скатывались прозрачные капли.

– Скажи-ка, Витя, что такое с тобой? Дома что-нибудь? – спросил он, присев возле парнишки.

– Отвяжись ты, – вяло сказал тот, встал и пошел прочь от берега.

Семен догнал его в несколько прыжков, загородил дорогу.

– Ну что, что?! – почти со злостью выкрикнул Витька, скидывая давно не стриженную головушку. – Что тебе надо?

– Мне-то ничего. – Семен взял парнишку за плечо. – Я ничем не могу тебе помочь?

– Не можешь! Да, не можешь! – с отчаянием вскрикнул Витька, сбросил тяжелую Семенову руку и пошел дальше. Однако через несколько шагов обернулся. – К нам седни ночью этот... Макар Кафтанов приехал, понял?

– Макар?! – воскликнул Семен и невольно поглядел вправо, на дорогу, по которой недавно в Михайловку прошагал человек с котомкой, издали похожий на дядю Ивана, уже несколько лет находившегося в заключении.

Витька понял этот взгляд, проговорил:

– Может, они вместе и приехали.

Семен хмуро молчал. Макар Кафтанов, его дядя по матери, был знаменитым вором, большим специалистом по ограблению магазинов. В свои двадцать восемь лет он уже имел шесть судимостей...

* * *

После завтрака Федор Савельев через хлев вышел на двор, крикнул зычно и властно:

– Кирья-ан!

Тотчас отмахнулись в инютинской избенке дощатые двери, на покосившееся крылечко с лохмотьями облезавшей краски стрелой выскочил, что-то дожевывая, Кирьян Инютин.

– Позавтракал? Айда на станцию.

– Воскресенье же... Я поллитровку в погреб кинул, чтоб нахолодала.

– Какая поллитровка! На носу уборочная, а твой трактор еще в развале весь.

– Так... Чего же, раз надо, стало быть, значит, я разом, – тотчас согласился Кирьян.

Избенка Инютиных, сложенная из тонких и корявых бревешек, рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой, ветхой и невзрачной. Таким же невзрачным и никудышным был узкоплечий и гололобый Кирьян Инютин по сравнению с глыбистым, медвежковатым Федором Савельевым.

Кирьян нырнул обратно в темный зев сенок. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна – остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шалый огонек, Анфиса. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои тридцать девять лет, все еще казалась девчонкой.

Она шла, не замечая Федора. Ее старенькая, ветхая юбчонка была высоко подоткнута, красные, нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.

– Здоровенько ночевали, – сказал Федор.

– Ой! – воскликнула женщина, торопливо одернув юбку.

Федор шагнул к плетню, разделявшему их усадьбы.

– Подойди-ка...

Анфиса качнулась, словно в нерешительности, подошла.

– Ну? – Глаза ее были опущены, припухшие, красноватые веки чуть подрагивали.

– Как стемнеет, буду ждать... в наших подсолнухах, а? – трогая ус, кивнул Федор на делянку подсолнухов, прилепившуюся на задах огорода. – Придешь?

Анфиса брызнула на Федора крутым, как кипятком, взглядом и молча принялась рассматривать молоденькие огурчики, лежавшие у нее в фартуке.

– Жалею я, что отдал тебя Кирьяну, – усмехнулся Федор. – Ишь, не стареешь будто. Износу тебе нету. А моя Анна...

– Чего теперь об этом... – вздохнула Анфиса.

– Так придешь?

– Ладно. Если Кирьян не проснется, – просто сказала Анфиса и, видя, что Кирьян вышел из дома, ткнула огурцом в широкую ладонь Федора. – Попробуй, с нашего огорода.

– Огородница ты знатная, на всю улицу, – произнес Федор.

– Это уж действительно, – хмуро подтвердил Кирьян. – Про всякую овощ еще слыхом не слышать, а у нее уж на столе... Ну, пошла! – раздраженно прибавил он и подтолкнул жену к крыльцу.

Федор и Кирьян вышли на улицу и молча зашагали к МТС.

* * *

После колчаковщины Федора Савельева, по совету председателя волисполкома и бывшего командира партизанского отряда Поликарпа Кружилина, назначили начальником Шантарского почтового отделения, а Федор взял бывшего бойца своего эскадрона Кирьяна Инютина в завхозы. На почте они проработали без малого десять лет – до 1931 года. Сперва вроде все было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства – то моток проволоки, то дюжину-другую сосновых телеграфных столбов, то конскую упряжь. Федор неоднократно мылил ему за это шею, тряс увесистым, заволосевшим на казанках кулаком перед крючковатым Кирьяновым носом.

– Да что ты, что ты, Федор, – моргал невинными глазами Инютин, вытирая ладонью проступавшие на затылке крупные капли пота. – Да рази я, переверот мне в дыхало, осмелюсь что с государственной ценности... Не иначе конюхи, разъязвы их, пропили. Я прижму их, паразитов, они у меня иголки больше не своруют...

Потом Кирьян ловко научился вскрывать посылки, вытаскивать оттуда разное барахло. Жалоб на работу почты было все больше. И вскоре Федору пришлось оставить работу.

– Бывший партизан! Лихой командир эскадрона! – гремел на него Кружилин, ставший к тому времени секретарем райкома партии. – Да какого эскадрона?! Лучшего в полку! Развалил почту, распустил людей... Меня подвел... Позор!

После этого Федор устроился на работу в недавно организованную районную контору «Заготскот» – приемщиком в Михайловское отделение.

В Михайловке первым, кого он встретил, был младший брат Иван – белобрысый, точно вылинявший от долгого сидения в темной яме, худой как палка, с тонкой и желтой кожей на скулах, сквозь которую, казалось, просвечивали кости.

– Ты?! – удивился Федор. – Как ты тут?!

Иван отвернулся, поглядел на угрюмые в вечерней наволоке глыбы Звенигоры. Под мышкой у него торчал кнут.

– Пастухом я работаю на отделении, – сказал он.

– Ну, это мы исправим живо, – усмехнулся Федор. – С бандитами я не разучился управляться. Откель же ты, контрик?

– Яшка Алейников разъяснит... коли потребуется, – сказал Иван и пошел. Распахнутые полы его заскорузлого под дождями и степными ветрами брезентового дождевика цеплялись за жестяные стебли полыньника.

Яков Алейников, бывший начальник разведки кружилинского партизанского отряда, после гражданской войны работал в ГПУ. Узнав, зачем пожаловал к нему Федор, Алейников потер косой рубец на левой щеке – след зубовской шашки, сказал:

– Брательника твоего еще в двадцать пятом выпустили из Барнаульского домзака. Он свое отсидел.

– Пять лет врагу Советской власти – что за мера?!

– Суду видней было. Нашли смягчающие вину обстоятельства. Потом несколько лет работал в Барнауле – бондарил в какой-то мастерской, мыл в затоне керосиновые баржи. Там же и женился на буфетчице какого-то парохода. Сюда переехал с нашего ведома. В артель колхозники поостереглись его принять...

– И я не буду с ним работать. Понял?

– Я-то понял... Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке – и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит – пусть работает, ничего... Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались... – И, походив по кабинету, остановился у окна, глубоко зацепил Савельева холодным взглядом из-под сдвинутых лохматых бровей. – А что ты уж с такой злобой к нему? Брательник всё же...

– А непонятно разве?

– Ну ладно, – усмехнулся Алейников. – Это дело ваше, родственное, так сказать. – И опять потеряв шрам на щеке, прибавил: – А ежели подойти с классово-пролетарской точки зрения, то я бы тебя просил, Федор, если что заметишь в нем... душок какой, мысли... не говоря уже о действиях...

– Ты?! – Федор хотел встряхнуть его за новые, глянцево блестящие от солнечных лучей, бивших из окна, ремни, но не решился. – Шпионить я не буду. Это уж как хошь.

И ушел. Яков Алейников, чуть приподняв лохматую бровь, проводил его задумчивым взглядом.

Как ни кипел Федор, а пришлось ему жить в Михайловке рядом с ненавистным братом. В гости один к другому не ходили, друг с другом не разговаривали. Разве только Иван иногда, отогнав гурт нагулянного скота в Шантару, отдавая Федору сопроводительные документы, спрашивал:

– Всё?

Федор, пошевеливая усом, долго рассматривал цифры и подписи на измятых, желтых листках и кидал, не достаивая Ивана взглядом:

– Всё.

Крепла, закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между братьями, рождала догадки у михайловских колхозников, плодила бесконечные пересуды.

– Зудит рука у Федора на контру. Хлестанет, должно, когда-нито...

– Обои они кандыбышны... в смысле – одного поля ягода. Федор-то тоже кулацкую дочку в жены взял...

– А зря вы. Кафтанов зверь был, спытали его милости. А дочь его, Анна эта, партизанила вместе с Федором...

– Партизанила... Блуд чесала об Федьку – это верно...

– Из одной чашки, хе-хе, братовья, должно, хлебали...

Слушая деревенские пересуды и шепотки, ловя на себе то откровенно насмешливые, то вопросительно-удивленные взгляды, Федор мертвел лицом.

– Слушай, уезжай ты отсюда к чертовой матери! – примерно через год не выдержал Федор. – Уходи от греха! Добром прошу.

– Чем я тебе сейчас-то мешаю? – шевельнул Иван усами.

– Усы мне твои не нравятся! – полоснул Федор брата откровенно ненавидящим взглядом.

Усы Иван отпустил недавно, такие же густые и жесткие, как у Федора, такой же подковкой. Разница были лишь в том, что у Федора они были черными как смоль, а у Ивана светлорусыми, под цвет бледно-серых, как застывшее в июле знойное небо, глаз.

– Усы как усы... Навроде твоих, только цвет другой.

Внутри у Федора что-то екнуло, как селезенка у лошади, он затряс брата, сграбастав за отвороты пиджачка:

– Смеешься, гад? Изгаляешься! Намеками до кишок пыряешь?! – И, не помня себя, рванул за отвороты вниз.

Треск отрываемых лоскутьев словно остудил Федора, он отступил на шаг, поглядел на зажатые в кулаках лохмотья.

– Сдурел ты окончательно, – спокойно произнес Иван. – Какие намеки еще...

В это время заскочила в пригон, где произошла стычка братьев, жена Ивана, Агата, маленькая, верткая женщина. Шла она мимо куда-то по своим делам и уже миновала было скотный загон, но ее остановили голоса мужчин.

– Ах ты паразит такой! Сволота, кикимор нечесаный! – с ходу обсыпала она Федора бранью, как горохом из ведра. – Со свету совсем Ивана сживаешь? Мужик и без того намыкался, а ты доказнись его хошь? Последние ремки на нем рвешь. Сам-то в суконной паре ходишь, а мы – в лохмотьях. Скидывай, мурло свиное, свой пиджак сейчас же...

Сверкая глазами, она прыгала вокруг кряжистого Федора, болтала вывалившимися из-под платка косами, трясла кулачками, потом принялась сдергивать с него пиджак. Федор пятился от нее, отбивался, как от озверелой, с лаем наседающей собачонки. Женщина сорвала с него пиджак, свернула его в ком, зажала под мышкой, убежала.

– Не бойся, верну тебе одежду, – проговорил Иван, подобрав с земли оторванные полы своего пиджака.

Федоров пиджак он принес в дощатую каморку на следующий день, молча кинул на скрипучий стол.

– В продолжение вчерашнего прибавлю, – пряча почему-то глаза, произнес Федор. – Ежели замечу, что привечаешь разговором... али как Семку... и уж совсем не приведи господь, коли увижу тебя рядом с Анной... На людях ли, без людей ли – все равно... Не обессудь тогда.

– Ну как же, – произнес Иван, – ты не Кирюшка Инютин, знаю.

В два прыжка Федор оказался рядом с братом, едва сдерживаясь, чтобы опять не схватить его за плечи.

– Рви снова на мне одежду, – будто посоветовал Иван. – Видишь, Агата пришила оторванные полы. Ничего, еще пришьет.

– Нет, одежду рвать не буду! – прохрипел Федор, зажимая внутри себя этот хрип. – Я тебя, контру, просто прикокну, ежели ты... сплетни распускаешь!

– Убери руки, ну?! – ошетинился наконец Иван. – Они у тебя в волосьях.

Несколько секунд братья стояли друг против друга, молча кромсая один другого глазами.

Первым не выдержал Федор, отвернулся и пошел к столу.

– Сплетни... Вся деревня про вас с Анфиской судачит.

– Ну, гляди у меня, ходи, да не оступись, – вяло, будто без всякой злобы теперь, промолвил Федор.

...Кирьяна Инютина Федор перетянул в Михайловку вскоре после того, как только обосновался на новом месте, выговорив ему в районе место своего помощника, хотя, по совести, должность Федора была нехлопотливая – одному делать нечего. Жить Инютины стали в том же доме, что и Савельевы, в пустующей половине. Когда Инютины переезжали, Анна слушала, как они устраиваются за стенкой, гремят ведрами, посудой, и временами тихонько плакала.

– Н-ну, сыть! – покрикивал на нее Федор. – Чего еще!

Недели через две-три шалая Михайловская бабенка Василиса Посконова, возвращаясь с колхозных полей, застала Федора и Анфису за деревней, в кустах, росших обочь дороги.

– И-и, бабоньки! – захлебываясь от нетерпения, шмыгала она в тот же вечер по деревне, из избы в избу. – Стыдобушка-то-о! Он ее, значит, усами щекотит в голые титьки, а она похотывает... Я думаю: что за хохот тут? Девки, думаю, какие в кустах дурачутся... Семка гляну... Раздвинула ветви-то – ба-атюшки!

Потом еще несколько раз видели Федора с Анфисой то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на берегу Громотухи.

– Тьфу! – плевались деревенские бабы, переминая Анфисины косточки. – И как глаза у ней от бесстыдства не полопаются! Ить детная же, Верке уж десять лет, скоро заневестится.

– Дак и меньшей, Колька, все соображает, поди.

– В мокрых пеленках ишо давить таких надо...

И чего не могли взять в толк Михайловские мужики, так это поведения самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Федором, об этом ему не раз говорили в глаза. Находились даже добровольцы, изъявлявшие желание немедленно отвести Инютина в лесную балку или степной буерак, чтоб на месте «пристегнуть голубчиков». Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплевывал на испеченную зноем землю и говорил:

– Чтоб моя Анфиса?! Да ни в жисть! Она скорей шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было...

Но люди знали – частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню, в какое-нибудь глухое место, и там безжалостно и жестоко избивал, не оставляя на ее тугом белом теле живого места. Обычно до ночи Анфиса отлеживалась в кустах, а с темнотой тихонько, чтоб никто не видел, приползала в деревню.

Иван смотрел на такую жизнь брата молча, Анфисой больше не попрекал и жене строго-настрого запретил.

– Иначе сожрет меня Федька с потрохами.

– Да за что он взялся на тебя, живоглот такой?

– За то, видно, что у Кафтанова в банде служил. И за Анну. Будто от меня у ней Семка... – глухо проговорил Иван. – Я же рассказывал тебе обо всем... как оно было. У меня нет от тебя утаек.

– А может, нам уехать отсюда? А, Иванушка? – спросила Агата однажды после ужина.

Иван не отвечал долго. В углу, посапывая, возился трехлетний Володька, перебирал пустые, давно замусоленные катушки из-под ниток.

– Нет, не дело, – вздохнул наконец Иван. – Тут я родился. Тут батьку с маткой... колчаковцы сгубили. Старший брательник, Антон, правильно пишет: «Тут, в родной деревне, замывая свои грехи. Пущай, говорит, их могилы вечно твою память скребут».

Антон, старший из братьев Савельевых, после гражданской жил в Харькове, работал заместителем начальника цеха на тракторном заводе. Все это Агата знала. Знала и о письме, о котором говорил муж. Оно было получено давно, еще в Барнауле. Благодаря ему они и оказались здесь, в Михайловке, хотя Агата уговаривала Ивана остаться в городе.

– Написать все вот Антону хочу, да не соберусь. Карточку надо бы попросить. А то прийдишь встренуться – не узнаю ведь, пройду мимо. Я ж его последний раз в тыща девятьсот деся-

том, что ли, году видел. Он тогда то ли из Томской, то ли из Новониколаевской тюрьмы убежал. А следом за ним – жандармы. Ну, да и об этом обо всем я рассказывал тебе.

В тот вечер оба не спали долго. Лежали, смотрели в темноту.

– Вань... А ты не досель ее, Анну-то... любишь?

Неслышной волной тронуло Иваново тело, будто прокатился где-то внутри у него проглоченный вздох.

– Хватил я через нее, проклятую, лишенька... Всю жизнь ведь переломала мне. Кабы не она, разве я б оказался в банде Кафтанова? – И помолчав: – Хотя что ее винить?

Повернулся к жене, провел жесткой рукой по волосам, по лицу. И, ощутив мокрые от беззвучных слез щеки, сказал:

– Ну-ну... Если бы что этакое... разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще – как бы я на земле, не встретить тебя? Куды бы я! Спи.

Он прижал к груди ее голову. Успокоенная, она заснула.

Помня предостережение Федора, Иван года два жил, будто отгородившись невидимой стеной от его семейства, от Кирияна Инютина, от Анфисы. Если где встречал кого ненароком, проходил мимо, даже не взглянув. И на него никто не смотрел, только Анфиса полоснет иногда острым зрачком, но тут же прикроет глаза, будто устыдившись. Да один раз десятилетний Семен, ковырявший в перелеске какие-то сладкие корни, подошел к Ивану, который сидел под сосной, наблюдая за бродившим по угору стадом.

– Эй, дядька... – сказал Семен, сунув в карманы измазанные землей руки. – Люди будто говорят, что ты мой дядька.

– Это правда, я твой дядя, – ответил, помедлив, Иван.

– А что же ты тогда у беляков служил?

– Так вот... пришлось, – растерянно улыбнулся Иван.

– Эх, контра белопузя! – угрюмо бросил парнишка и ушел, не вынимая рук из карманов.

Но если эта стенка между братьями не таяла, то к Михайловским жителям Иван потихоньку притирался. Все меньше и меньше ощущал он на себе косых, обжигающих любопытством и неприязнью взглядов, все чаще при встречах здоровались с ним мужики, а то и оставались поболтать, угощали крупно крошенным, ядовитым на цвет и на вкус самосадом, который при затяжках свирепо трещал, брызгал искрами.

Видно, сказывалось тут и время, незаметно заставляющее людей привыкать ко всему, делал свое дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать.

– За-ради чего ты хлобыстаешься пуще нас? – спрашивали иногда женщины. – Ведь не колхозница.

– Не убудет меня, – с улыбкой отвечала Агата. – Иван-то хоть коров пастушит, а я вовсе не разминаюсь.

Да и сам Иван время от времени помогал колхозу то сбрую починить, то сани наладить. Он умел отлично гнуть дуги и колесные ободья, делать бочки и кадушки. Председатель «Красного колоса» (так назывался Михайловский колхоз) Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами и ни разу не получал отказа.

И однажды в дождливый осенний вечер бывший заместитель командира партизанского отряда Панкрат Назаров завернул в халупку к Ивану.

– Погодка, язви ее... – Он смахнул сырость с бороды, вытащил кисет, присел у дверей. С дождевика его на некрашенный пол текла вода. – Насвинячу тут у вас.

– Ничего, – улыбнулась Агата. – Какая трудность подтереть! Раздевайся, чаю попьешь горячего.

– Не до чаев, – хмуро сказал Панкрат. – Солому с прошлогодних скирд перемолачиваем. Да что...

Шел голодный тридцать третий год, за неурожайным летом надвигалась долгая, зловещая зима.

– Вы-то как? Зиму протянете?

– Картошка есть, не помрем, может, – ответил Иван.

– Не помрем, – широко улыбнулась опять Агата, будто она твердо знала о какой-то приближающейся радости.

– Правда, с такой женой грех помирать, – сказал Панкрат. И вдруг спросил: – Слухай, Иван, в колхоз пойдешь?

Иван, строгавший в углу кадочные клепки, отложил рубанок, выпрямился. Агата птицей метнулась к мужу, будто ему угрожала какая опасность, повисла на плече.

– А примете? – спросил Иван.

– Сейчас многие с колхозу бегут, – вместо ответа проговорил председатель, растирая усталые глаза. – Грузят лохмотья на телегу и уезжают. В город подаются, на заработки. Думают, там слаще.

– На следующий год будет, будет урожай! – почти зло выкрикнула Агата.

– Должон, поди, – согласился Панкрат. И, помолчав, произнес: – Я вот думаю все – Михаила-то Лукича Кафтанова, Анниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Так ить разумно не объяснил. Чтобы свое бандитство искупить?

– Нет, не потому. – Иван освободился тихонько от жены.

– А Яшка Алейников и тогда и сейчас говорит – потому. И брат твой Федор – тоже.

– А им откуда знать, потому или не потому?! Я им об том тоже никогда не докладывал. И на допросах никому не разъяснял. И разъяснять не буду.

– Что шумишь? – сказал Назаров, вставая. – Не будешь – дело твое. А живешь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства, руки золотые. Яшка Алейников говорит: «Не вздумайте в колхоз принимать, затаился он, сволочуга, сейчас хвост прижал, а урвет время – гвоздем вытянет да на горло скочит...»

– Вон что, – усмехнулся Иван тяжело и горько. – Застрял, значит, я, как телега в трясине за поскотиной.

– Была трясина, теперь нету, забутили недавно. Теперь – сухое место. – Назаров застегнул дождевик. – Оно и в жизни человеческой так бывает. Алейников этого в расчет не берет, видно... Ну, да хрен с ним. Обдумайте с Агатой все, а по весне примем вас в колхоз.

И приняли. Иван боялся, что на собрании начнут допытываться, отчего да как очутился в банде у Кафтанова, при каких обстоятельствах прикончил его. Тут может и об Демьяне Инютине, бывшем одноногом старосте, вопрос подняться: кто его-то в амбаре пришлепнул, как, за что? Об Инютине Иван вообще никогда никому не говорил, кроме Агаты, – ни партизанам тогда, ни на суде потом. Но никто ничего не спросил. Может, потому, что Панкрат Назаров, открывая собрание, напрямик сказал:

– Значит, так, Иван Силантьевич... Что ты в банде у Кафтанова был – знаем. За то отси-дел, сколь Советской властью было отмерено. Но ежели какие прежние грехи утаил от суда...

– Али злодейства, – вставил мужичок Евсей Галаншин, живший тогда еще в Михайловке, и победно оглядел колхозников.

– Так вот, ты, Иван, лучше сейчас перед народом признайся. А то ежели всплывет что потом... сам понимаешь.

– Ничего я не утаивал, – сказал Иван. – Злодейств никаких не делал. Только портянки Кафтанову стирал да самогонку для него по углам шарил.

– А это не злодейство?! – закричала вдруг Лукерья Кашкарова, баба лет под пятьдесят, на лицо моложавая, все еще хранящая следы былой красоты. – У меня, паразит, четверть само-

гонки из избы выпер. До сих пор бутылку помню – на горлышке краешек сколотый... Ишо плеткой на меня замахнулся. И день помню: как раз на Аграфену-купальницу было в восемнадцатом году...

– Это было, – сказал невесело Иван. – Ты же уцепилась за эту несчастную бутылку, вроде как у тебя сердце вынимали. А Кафтанов, озверевший от пьянства, велел не только самогонку, а и тебя к нему приволочь.

При этих словах начавшийся было ропоток увял, настороженное любопытство разлилось по рядам колхозников.

– Ну? – не вытерпел кто-то на задней скамейке.

– Я сказал Кафтанову: «Лушка, видать, унюхала что про твои желания, в степь с вечера убегла».

– Эк ты! – вскочил Галаншин, замахал руками. – Вот энтой-то ложи и не прощает тебе Лушка!

– Лишил бабу радости...

– Доседни сожалеет... – заметался в тесной, накуренной конторе хохоток.

Лукерья повернула голову вправо, влево, налилась гневом:

– Жеребцы, язвы вас! Нахальники... Об чем это я сожалею? Да я, как Иван сказал мне, что Кафтанов... на этакое зарится, при нем же, при Иване, собрала в узел рубашонки для перемены – да в лес. Иван не даст соврать. Скажи ты им, Иван Силантыч! Без перегляду с час бежала, пока сердце не зашло.

– Это верно, побежала ты – на коне вряд ли бы угнаться, – сказал Иван, но его перебил Галаншин:

– А скажи, Иван, случаем, не на заимку по привычке она побежала, что в Огневских ключах?

– Кака заимка?! Каки ключи?! – вскочив, закричала Лукерья, но ее голос потонул в громовом хохоте.

В молодости Лукерья была девкой бойкой и на любовь щедрой. Видимо, поэтому, несмотря на красоту, замуж ее никто не брал, но ее щедростью пользовался всякий. А Михайловский богач Кафтанов, когда случались у него загулы, почти в открытую увозил Лушку на свою заимку, жил там с ней по неделям.

Знали также в деревне, что в двадцать восьмом году кто-то из деревенских доброхотов наградил Лукерью сыном. Почувствовав себя беременной, Кашкарова очень удивилась этому обстоятельству и, встречаясь с бабами, зло разглядывала свой полнеющий живот и у каждой женщины почему-то допытывалась:

– Кто же это, бабоньки, мне подсудобил? Узнать – я бы ему глазищи-то выдавила. Ну, погоди, пушай дите народится! По обличью отгадаю отца и брошу ему ребенка под порог.

Но когда родился Витька, Лукерья, сколько ни разглядывала мальчишку, так и не могла определить, на кого он похож.

...Народ смеялся до слез, до рези в глазах. Лукерья кричала, крутилась среди людей, пытаясь что-то объяснить, потом села и заплакала.

– Нахальники вы! – выкрикнула она. – Ишо скажете тут вслух, что я с кафтановским сынишкой, с Макарой путаюсь! Знаю ить, по углам шепчетесь. Как язычищи-то от чирьев не полопаются!

Люди быстро примолкли. Всем до удивления странно было видеть плачущую Лукерью. И кроме того, очень уж дерзко и бесстыдно высыпала она перед всеми те сплетни и пересуды, которые гуляли про нее по деревне.

Имели ли под собой какую-то почву эти сплетни, сказать было трудно. Старшего сына Кафтанова, Зиновия, возглавившего после смерти отца его банду, вскоре изловил где-то Яков Алейников. По слухам, Зиновия отправили в Новониколаевск, по-теперешнему в Новоси-

бирск, и там расстреляли. Но у Кафтанова был еще один сын – Макар. В девятнадцатом году мальчишке было лет шесть, Кафтанов прятал его где-то по таежным заимкам. И, поговаривали, не без помощи той же Лукерьи.

Где потом жил Макар, да и жив ли он вообще – было неизвестно. Но в тридцатом году летом приехал в Михайловку высокий, узкогрудый, чернявый, точно закопченная самоварная труба, парень, одетый чисто, по-городскому, в шляпе, с тросточкой. Он переночевал у Кашкаровой, а утром появился на улице, приковывая общее внимание диковинным своим видом.

– Кто же ты такая птица? – скорее других осмелился приблизиться к нему Евсей Галаншин.

– А Макар я. Макарка Кафтанов. Приехал вот на родину.

– Во-он что-о, милый! – протянул Евсей и поводит расплюснутым носом. – А ежели тебя загребут? За родителя-то?

– Не-ет. Я ведь политикой не занимаюсь. Я уголовник.

– Кто-кто?! – заморгал Галаншин.

– Вор я.

– Ча... чаво? – вытянул тонкую шею Евсей и перестал моргать.

– Да ты не бойся, голуба, – усмехнулся Макар, хлопая Галаншина тросточкой по плечу. – Я только магазины граблю. Специальность у меня такая – магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?

Привлеченные необычным разговором, осмелев, вокруг Галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошел Макара кругом.

– Шутников и мы видывали. За мангазею-то тебя еще скорееича в тюрьму упекут.

– Ну, испугали... Да и поймать еще надо... В общем, так – Лукерья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантаре и перевезу ее туда. А пока чтоб и волос с ее головы не упал.

С тем Макар и отбыл. Через две недели пронесся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала.

Потом Макар еще появлялся в деревне раза два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит, через полгода, в крайнем случае через год непостижимым образом освобождается.

Оба раза, пожив несколько дней у Лукерьи, он объявлял, что уезжает в Шантару покупать для нее дом, но сделать покупку не успевал, садился в тюрьму.

Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвертый раз, но он что-то задерживался.

Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пестрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Галаншин произнес:

– А что ж ты, Лушка, на языки народные в обиде? Ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и, сказать, не соломина...

Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потек было, разливаясь, говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на все помещение:

– Ну, будя! Разбалаганились. Об деле давайте. Ну, так что, есть какие, окромя Лукерьиных, возражения супротив Ивана?

Никаких возражений не было.

На второй или третий день после собрания влетел на легкой рессорной коляске в Михайловку Яков Алейников, осадил приплясывающего каурого жеребца возле колхозной конторы, бросил черные ремни вожжин как раз выходявшему от председателя Ивану:

– Подержи!

И вбежал на крыльцо по расшатанным ступеням.

О чем Алейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, пошел по своим делам. Алейников же, приняв вожжи, подергал рубцом на левой щеке:

– Интересненько приклеиваешься.

– Ничего я не приклеиваюсь.

– Ну! – взмахнул Алейников бровями. – Это позволь уж нам самим знать! – И, упав в коляску, укатил.

Вечером того же дня Иван встретил Панкрата у амбаров.

– Что он, Яшка? Насчет меня, должно?

– А хрен с им, – сказал Назаров. – Он насчет всякого обязан, его дело такое...

Эти слова успокоили Ивана и взлохотненную наездом Алейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты ее тела, но обо всем догадался.

– Когда? – спросил Иван, погладил ее холодноватое плечо.

– К Октябрьским праздникам, должно, будет.

– Молодчина ты у меня. Вишь, радость, как и беда, тоже не ходит одна.

А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали.

Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить луг недалеко от Громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали теплым, сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных валков, как дрожит над ними теплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно думал об Агате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо вылинявшим платком, думал о ребенке, которого носит она в себе. Ивану хотелось, чтобы это была дочь.

На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук, а жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматриваясь в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди.

– Ты чего, Агата? – поднялся Иван.

– Ой, не знаю... Заколотилось сердце отчего-то...

Дрожки подъехали, соскочил с них плотно запыленный – даже в мохнатые брови густо набилась пыль – Яков Алейников, а с ним пожилой милиционер.

– Здорово, колхознички. Бог в помощь, – сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану: – Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим.

Вскрикнула Агата, повернулась к Алейникову посеревшим лицом, загораживая мужа.

– Отойди, баба! – строго произнес Яков.

– В каталажку, что ль, Ивашку? – спросила испуганно Василиса Посконова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристойных взаимоотношениях Федора Савельева и жены Инютина. – А за что, ежели спросить?

– И прям, товарищ-гражданин, разъяснил бы людям, – угрюмо поддержал ее пожилой, кряжистый колхозник Петрован Головлев, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду.

– Пос-сторонись! – кинул Алейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающе поглядели на него.

– А действительно, что случилось? – проговорил, подойдя к Алейникову, двадцатитрех-летний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Десятилетнему Максиму ушел в армию, неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблескивая рубиновыми лейтенантскими кубиками на петлицах гимнастерки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и утомился, видать, после обеда сразу

же заснул, уронив голову на копешку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке еще держались вмятины от травяных стеблей.

– Уголовное дело, – недовольно сказал Алейников. – А может, и политическое. Суд разберется.

– Да что такое Иван издал? – тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки.

– Именно...

– Неуж людям нельзя обсказать... – посыпалось со всех сторон.

– А может... может, Иван все же утаил какие прежние грехи? – крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством. – А теперича всплыло? Панкрат предупреждал, помните?!

– Ладно, мужики, – вошел в круг Иван. – Братец Федор, должно, удружил мне. За тех двух жеребцов. Да разберутся же люди...

– Это какие такие жеребцы? – крутнулся Евсей к Алейникову. – Что по весне потерялись, что ли? Отделенческие?

– Они, – сказал Иван и вернулся к плачущей Агате.

Два отделенческих жеребца, на которых Федор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана.

– Значит, колхозник теперь? – усмехнулся Федор, когда Иван принес заявление с просьбой освободить с работы.

– А тебе что, опять не нравится?

– Мне что? Приняли – колхозничай.

А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг (уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Инютина). А утром взял уздечки и пошел ловить коней. Но их и след простыл.

– Та-ак-с... – сказал наутро Федор, встретив Ивана на улице. – Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался, а теперь, значит, решился?

– На что я решился? – произнес Иван. И только после этого дошел до него зловеющий смысл Федоровых слов. – Да ты... Ты что городишь?! Придумал бы поумнее что...

– Разберемся, милоч, – бросил Федор и, покачивая широкой спиной, ушел. И вот приехал Яков Алейников.

Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину прильнувшей к нему Агаты.

– Будет, будет... Чего зря? Это ведь доказать надо. Прощай пока. – И сел в тележку.

Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.

– Пойдите-ка... – И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.

В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнес несколько сот слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чем гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжелого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.

– Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? – спрашивали его иногда.

Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но, случалось, все же разжимал губы:

– Почто же? Нет.

– Так чего все молчишь-то?

– А об чем мне говорить?

И умолкал намертво снова на год, на два.

Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пяти-пудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на бричку одной рукой, взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.

Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался по обыкновению, но один раз сказал:

– Они боятся. Какую ни попробуешь обнять – хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.

Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах.

Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошел вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.

– Так... И далеко тебя прокатить? – Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.

– До милиции, – сплюнул Молчанов на траву.

– Это можно. А в чем покаяться хочешь?

– В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Мать прихворнула, ухи попросила, – не спеша проговорил Аркадий и умолк.

Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.

– Все? Выкидываешь тут фортели... Слазь к чертовой матери!

– Я иду, гляжу – Кирьян тех коней ловит. Инютин-то... Ночью, значит. Еще серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.

– Ну?! – раздраженно воскликнул Алейников.

– Иди ты... Что орешь? – обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.

– Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.

– Это ить чудо голимое – Аркашка Молчун беседывает! – закрутился Евсей Галаншин. – Ты давай, Аркашенька, закручивай свое ораторство... Так, поехал Кирьян. А куда?

– К Звенигоре поехал! – со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. – Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пехом идет, уздечками в руках побрякивает.

– Куда же он коней отвел? – спросил Петрован Головлев.

– И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошел на пригорок, глянул – недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают...

Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чем рассказывает тяжелый на язык Аркадий.

Первым нарушил тишину Головлев Петрован:

– Пойдите, мужики... Так оно что же получается?

– Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?

– Люди, люди! – врезалась сбоку в толпу Агата. – Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он может на такое...

– Помолчи, Агата...

– А разобраться надо...

– Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?..

Поднялся шум, гвалт.

– Тих-хо-о!! – заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: – Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем...

Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи ее крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чем-то виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном...

Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришел под вечер, снял запыленную одежду, умылся и жадно начал хлебать крошку с луком. Мать непрерывно подливала ему в чашку.

– Чего там с Иваном? – заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. – Разобрались?

– Разбираются.

И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.

Потом Молчанова еще несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился все сильнее и сильнее.

Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Федора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:

– Ништо, переворот ему в дышало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.

И Федор после поездки был немногословен.

– Дал бог мне братца... – только и произнес он.

В конце августа тридцать пятого года Ивана осудили на шесть лет. Федор встретил это известие молчком, только усами нервно подергал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.

Колхозники не знали, что и думать.

– Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свел лошадей? – кинулись некоторые к Молчанову. – Разве б безвинного засудили?

– Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.

– А идите все вы к... – впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.

В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто ее лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.

– Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость, – сказал Панкрат, шумно вздыхая. – А с другого боку – зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.

Он еще выкурил одну папиросу и встал.

– А тебе так, баба, скажу: Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей серчать нечего. Отворотишься ежели от людей теперь – погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детьми – отдельно. А там и видно будет. Время – оно все разъяснит, до полной ясности...

Федор Савельев и Кирьян Инютин после этого еще немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.

После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Федору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходил, и теперь никто особой дружбы не завязывал.

Но Федор все явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Федор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.

Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза ее, в которых можно было когда-то утонуть, делались все мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но все еще хранившая девичью легкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие, горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утесы Звенигоры, каменела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась ее грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.

Нередко в таком положении заставлял ее Федор, но ничего не говорил. Только подергивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдергивала из головы костяную гребенку. Светлорусые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчесывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытье, принималась за домашность.

Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.

Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:

– Мама, а чего люди говорят... будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?

Федор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжелом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.

– Хватит! Каждый глазами напополам стригёт, будто и в самом деле я Ивана...

И тем же часом уехал в Шантару, через три дня вернулся с новым приемщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.

Через час нехитрые пожитки были уложены, Федор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семену:

– Трогай потихоньку.

Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.

– Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?

– В МТС пойду. На курсы. По машинной части.

– Эвон как. По машинной – это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет, – одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: – Это хорошо, что уезжаешь отсель.

– Вот как?!

Пробегавший мимо Евсей Галаншин любопытствовал с откровенным цинизмом:

– А как ты, Федор, без Кирияна-то? Али все же к себе его выпишешь?

Внешне Федор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щеки.

– А это уж как мне удобнее, – усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.

Кириян Инютин с семьей уехал из Михайловки через неделю. А еще через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие, что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Федор.

– Обои с тетрадочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают... – звонила она, захлебываясь от торопливости.

– А про Анфиску его что слыхала, нет? – любопытствовали бабенки.

– Да что... – виновато крутилась Василиса. – Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила...

Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Федора и Кирияна.

* * *

21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.

Чумазий, задыхающийся на подъемах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощекие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запеченных в сметане грибов, жареных цыплят...

Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобожденные районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:

– Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного...

– Работа найдется, – ответил секретарь. – Направляем тебя в распоряжение парторганов.

Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.

Вечер был теплый и тихий. Но из-за Сана все равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал – на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих поселках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он слышал за стенкой дощатой бытовки разговор:

– Гроб с крышечкой скоро будет Советской власти, чтоб мне не дожить до вечера... Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке... А уж крышечку завинтим поплотнее...

Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.

– Кто это тут крышку Советской власти завинтить собирается? – спросил он, подходя к ребятам.

Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.

– А я, допустим, – усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.

– Кто такой? Как фамилия? – Отступать было поздно.

– Карточку показать или на слово поверишь? – И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец – эмблема бандеровцев.

Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.

– Что стоите? Бей гада! – заорал тот, выхватывая нож.

Антон поднял с земли обломок кирпича – больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки...

Раздумывая обо всем этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра – завод работал и по воскресеньям, – а сейчас хорошо бы побриться и поесть.

Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать еще не закрывшуюся парикмахерскую.

Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тер лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.

Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.

– Что за Саном делается, не слышно? – спросил Антон.

– Откуда же я знаю, что за Саном? – ответил парикмахер с отчетливой еврейской интонацией. – Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?

Но, кончив бритье, добавил:

– На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?

– Не знаю, – вздохнул Антон.

– Да, да... – вздохнул и парикмахер. – Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении...

Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» – микроскопические пирожные – и небольшие бутерброды – «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.

Улегшись на койку в своем номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома, Лиза? И приехал ли Юрий?» – почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.

Постепенно сон брал все-таки свое. Последнее, что он услышал, – за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал веселую львовскую песенку:

Во Львове идет капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья...

Проснулся он от страшного грохота.

Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплескали отсветы огня – что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проем окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.

Надернув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» – подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребенок.

Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.

И только тут отчетливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»

На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» – сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь... Помочь...»

Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял – помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинаясь о брошенные чемоданы, о всякую

рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот – все перемешивалось, превращаясь в сплошной неистощаемый рев, еще больше усиливая панику.

Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая – куда же теперь ему идти? И здесь опять больно прошла голову вчерашняя мысль: «А как там, во Львове? Приехал ли Юрка?»

Из какого-то проулка выкатился зеленый броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.

– Товарищи! Не создавайте паники! – разнеслось от площади. – Возможно, это просто провокация... На всякий случай – всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакуационный пункт. Там вас ждут автомашины...

Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.

И тогда все услышали в небе надсадный прерывистый гул.

Над городом пузырились кроваво-черные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжелой, распухшей подушкой.

Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолеты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчетливо и зловеще чернели кресты...

* * *

Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскаленная зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.

Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на распатанном, грохочущем «Ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:

– Алло, алло! Станция?.. Катя!.. Это ты, Катя?.. Что там Новосибирск?.. Не отвечает?.. А квартира секретаря обкома... Тоже молчит?.. Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.

Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.

– А-а, Яков Николаич! – промолвил он вдруг, взяв очередные листы. – Ты ко мне? Заходи.

– Зайду, – сказал Алейников, стоявший в дверях Вериной комнатки. – Сейчас зайду.

Кружилин, удивленно глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошелся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем еще не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперек этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.

Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:

– Да что за ребенок, язви его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо приедет...

Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.

Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины кусты подступали чуть не к избенке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.

Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по темным улицам и осталась ночевать.

Сквозь липкий, тяжелый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протерла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова – в тяжелой, длиннополой шинели, в фуражке, пристегнутой к подбородку глянцево-черным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.

Манькин отец – Ерофей Кузьмич – был ей неродной – трехлетней девчонкой взял ее из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоем, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.

Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.

– А за что? – спросил он.

– А там объясним, – вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом окурок на половице. – Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменял – так и не разыщем? Разыскали.

– Прощай, Маньша, – повернулся к приемной дочери Ерофей Кузьмич. – Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть...

Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.

...Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.

Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был огорожен со всех сторон плотным деревянным забором.

Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» – тупо и больно колотилось в голове.

* * *

– Слушаю тебя, – сказал Кружилин, поднимая тяжелую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.

Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.

– Алло, Катя?.. Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? – опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. – Ну, ты скажи, будто вымерли все...

– Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает, – промолвил Алейников. – Это мы все работаем, работаем...

Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.

– Ты по делу? – спросил он, не поднимая головы.

– А без дела и зайти нельзя? Друзья все же, – усмехнулся тот.

Тупое и тяжелое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.

– Друзья, говоришь?

Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.

Поликарп Матвеевич понимал необходимость и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло...

...После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарем. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.

– Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу, – не раз говорил Алейников. – Поликарп Матвейч, дай мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим... губошлепам из Чека его сроду не изловить.

Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.

В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека – человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своем месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого, лет тридцати пяти человека.

– Вот, как обещал... Стой прямо, стерва, перед Советской властью!

Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтанова.

После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навел в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.

– Ну, давай, Яша, помогай, – сказал он ему. – Время беспокойное настает, кулачье во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.

Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарем райкома партии.

Яков Алейников будто нюхом чуял, где и что замышляет кулачье, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.

– Трудненько, Яша? – иногда спрашивал Кружилин. – Одни брови да рубец на щеке и остались.

– Выдюжим, – отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы. – Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.

– Подозрительно, – соглашался Кружилин. – По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то...

– Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что – сообщу, посоветуюсь.

Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.

А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нем эта

перемена. Попервоначально Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устает да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся все реже и реже.

– Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? – сказал как-то Кружилин. – На курорт куда съездил бы.

– Наотдыхаемся... на том свете, ежели сейчас поводья отпустить, – мрачно ответил тот.

У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага Советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.

– Ты эти штучки брось-ка, Алейников, – потребовал Кружилин, узнав о таком методе. – Невиновных сажать – за это знаешь ли... Ты не царской охранкой командуешь...

Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потертом кожаном диване в одном из кабинетов, а днем с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т. д.

Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:

– Черт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.

– Скажем... – кивал головой оперуполномоченный. – Значит, и Федор Савельев был у вас в отряде?

– Да, был. Он командовал эскадронам. Лучший командир эскадрона был в полку.

– Так. А его брат Иван в прошлом году осужден за вредительство. Знаете?

– Да, знаю. Хотя – не верю...

– То есть как не верите? Советским чекистам не верите? – пытаюсь изобразить строгость на своем безусом лице, спрашивал Тищенко.

– Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.

– Ну а факты? Ведь было же следствие...

– Да, факты... – устало проговорил Кружилин. – Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был...

– Да, да, в банде Кафтанова... – повторил Тищенко, прошелся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог. – Тут ведь все очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Федор – лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.

– Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моем отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осужден, отсидел. Но в нем проснулся человек, он в последнее время...

– Давайте по порядку, – прервал Кружилина оперуполномоченный. – Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она... попросту шпионкой была в вашем отряде?

– Это исключено. Она порвала с отцом, с семьей. Она очень любила Федора Савельева, моего командира эскадрона...

– И из-за любви пошла с красными? – улыбнулся Тищенко.

– Что же... Любовь – дело серьезное.

– Когда дело касается классовых идей, то любовь... Впрочем, хватит на сегодня, – сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги. – Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.

– То есть как – тут?.. Как – завтра?!

Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щелкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвертом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.

Придавив гнев и возмущение, Поликарп Матвеевич сел на диван и попытался хладнокровно сообразить: в какое же положение он попал и что, собственно, от него хотят? На арест не похоже, но и на свободу тоже. Да и за что его арестовывать? Дикость какая-то. Иван Савельев... Ну Иван... Нет, нет, не может Иван, не должен был... Тут какое-то недоразумение. А что, если... Ведь в самом деле, вели же следствие. Но Федор Савельев, Анна, жена его?.. Нет, нет, это исключено, чушь какая-то. А что, если не чушь? В последнее время раскрыта масса вредительских групп по всей стране. Что, если я... если меня вокруг пальца обводили все – и Федор, и Анна эта?.. Да нет же, нет, какая она шпионка?

Все перепуталось, все перемешалось в голове Кружилина. Слишком неожиданно все это обрушилось на него, слишком в неожиданном положении он оказался.

Ночь он провел без сна.

Утром явился с папкой под мышкой Тищенко.

– Я прошу... Я требую: сообщите обо всем секретарю крайкома партии! – почти закричал Кружилин.

– О чем? – спокойно переспросил безусый чекист.

– О том, что вы меня здесь держите!

– Доложим, – отозвался тот, сдувая с рукава гимнастерки соринку. – Если надо будет – доложим.

Он сказал это таким равнодушным, бесцветным голосом, что Поликарп Матвеевич взорвался яростью:

– То есть как – если будет надо?! Что вы за комедию устраиваете?!

– Вы не волнуйтесь, Поликарп Матвеевич. Если не виноваты, вам нечего волноваться.

– Да в чем, черт побери, вы меня обвиняете?!

– Собственно, ни в чем серьезном. Нам надо было уточнить кое-что об Иване Савельеве, о Федоре, о его жене Анне.

– Кроме того, что сказал, я ничего о них добавить не могу. Вам достаточно? Я могу быть свободен?

– Конечно, мы вас отпустим, – усмехнулся Тищенко.

– Вы меня еще не посадили, чтоб отпустить! И не посадите!

– Успокойтесь, Поликарп Матвеевич, – опять сказал Тищенко. – Хорошо, о братьях Савельевых поговорили. А сейчас...

– А сейчас я требую прекратить балаган! Немедленно! Ведите меня к вашему начальнику, в конце концов!

– Он, к сожалению, в командировке.

– Н-ну... ладно, – почти шепотом, в изнеможении, произнес Кружилин. – За всю эту комедию вы ответите.

– Хорошо, ответим. – Тищенко снова сдул какую-то пылинку с рукава новенькой, тщательно отглаженной гимнастерки. – А сейчас объясните мне, пожалуйста, – и в его голосе зазвучал, правда еще не очень натренированно, металлический оттенок, – объясните, почему, на каком основании вы органы внутренних дел называете царской охранкой?

Кружилин секунду-другую тупо смотрел на этого молодого человека в форме, который напоминал чистенького, новенького оловянного солдатика, только что вынутого из коробки.

– Слушай, сынок... – сказал он как-то печально.

– Не рано ли в папаши записываетесь?

– Мне сорок шесть, сорок седьмой пошел. Так вот, сынок... Ты еще и под стол-то пешком не мог ходить, а я уже в Австрии воевал. Меня газами чуть не задушили, потом, вплоть до двадцатого, я партизанил... Я в партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года.

– Я, я, я... удивительно вы скромный человек.

И тут Поликарп Матвеевич не выдержал. Побледнев, он трахнул кулаком по столу.

– Мальчишка! Да я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за Советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать. А ты хочешь мне своими гнилыми нитками пришить антисоветчину? Во враги этой власти записать? Не выйдет!

– Почему же? – Тищенко пожал плечами. – Если надо, может и получится.

Сказал и поглядел на Кружилина: какой эффект произведет это словечко «надо»? Но, к его удивлению, Кружилин не спеша повернулся, пошел к дивану, покачивая плечами, сел, спокойно закурил.

– Это что же, таким вот способом вы и другим дела шьете?

– А вам не кажется, что это клевета на сталинских чекистов? За такую клевету можно о-очень долго рассчитываться.

– А знаете что? – промолвил Кружилин. – Подите-ка вы к черту.

– То есть как? – опешил Тищенко, привстал. И только потом, задыхаясь, прокричал: – Как вы... смеете?! Встать!

– А так и смею. Я больше не желаю с тобой разговаривать. – И отвернулся к стене.

Оперуполномоченный нервно сгреб со стола бумаги, вжикая новыми сапогами, вылетел из кабинета.

Остаток дня Поликарпа Матвеевича никто не беспокоил. Хорошо хоть, что в углу, на тумбочке, стоял графин с водой.

Никто не беспокоил его и на третий день, до обеда. А часа в два дверь распахнулась, вошел, почти вбежал, Яков Алейников.

– Поликарп Матвеевич! Ну, дельцы они тоже! Случайно узнаю в управлении, что они тут тебя... «Вы что, говорю, с ума сошли?! Как вы могли даже подумать что о Кружилине? А мы, говорю, секретаря райкома потеряли...» Поехали, я тоже домой.

– Неумно, Алейников, – тихо и отдельно проговорил Кружилин.

Яков умолк на полуслове, вскинул и опустил брови. По его туго обтянутым скулам прокатились и исчезли желваки, натянув кожу, кажется, еще сильнее, до предела.

– Поликарп Матвеевич, – произнес он глуховато, глядя немигающими глазами в глаза Кружилина, – мы преданных партии и Советской власти людей не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Инцидент с вами объясняется просто, – перешел он вдруг на официальное «вы». – Как-то здесь, в управлении, я шутя рассказал, как вы меня критиковали за мой метод работы... что, мол, я не царской охранкой командую... Они, понимаешь, запомнили эти слова.

– Не ври, Алейников! Я тебе не мальчишка!

– Поликарп Матвеевич!

– Что – Поликарп Матвеевич?! Ты творишь в районе беззаконие!

– Например? – сощурил глаза Алейников. На щеках у него проступили и начали расплываться белые пятна.

– А тот же Иван Савельев. Он не виновен. Например, колхозник из Михайловки Аркадий Молчанов. За что вы его-то посадили вслед за Савельевым?

Кружилин задыхался от ярости, сжимал и разжимал кулаки. Крупное его тело вздрагивало, он хотел унять эту дрожь и не мог.

– Дальше? – усмехнулся одними губами Алейников.

– А дальше – так не будет! Мы хотели на бюро райкома заслушать работу райНКВД, кое в чем разобраться... Тебя, видимо, рекомендовали бы снять с работы за нарушение социалистической законности. А ты меня решил для острастки сюда! Не выйдет, братец! Бюро состоится! Мы не позволим выйти... тебе из-под контроля партии...

Алейников молча постоял немного, прошел к тумбочке, налил стакан воды и выпил. Потом сказал спокойно:

– Есть, видимо, вещи, которых вы не понимаете, Поликарп Матвеевич. Никакого бюро не будет.

– Это почему же? По каким соображениям?

– По политическим. Вот вам пропуск на выход...

Не помня себя, Кружилин выбежал на улицу, крупно зашагал в крайком партии.

Секретарь крайкома Субботин, стареющий угловатый человек, щеки которого изрезали глубокие морщины, принял его не сразу, но зато выслушал весь рассказ Кружилина спокойно, внимательно, не перебивая. И только когда Поликарп Матвеевич умолк, проговорил:

– Да, мне звонили. Все это очень неприятно.

– Значит... Значит, я, Иван Михайлович, действительно чего-то не понимаю, как говорил Алейников?

– Так выходит.

– Но – чего? Чего?

– Чего? – невесело переспросил секретарь крайкома. – Многого. Политической обстановки. Пульса времени.

– Что? – Кружилин поднял глаза на секретаря крайкома, оглядел его, будто видел впервые.

Поликарп Матвеевич давно, кажется с ноября 1919 года, знал этого человека, одного из руководителей новониколаевских подпольщиков, потом комиссара одного из полков легендарной Пятой Красной армии. Ну да, с ноября, потому что именно в последних числах ноября 1919 года партизанский отряд Кружилина совместно с этим полком выбили белогвардейцев из Шантары. Потом полк ушел дальше, на Новониколаевск, а этот человек крепко тряхнул ему на прощанье руку и сказал: «Давай, Поликарп, устраивай тут Советскую власть. Ты пока отвоевался».

Затем он встретился с ним, кажется, года через два или три, на Барнаульской партийной конференции – в те годы Шантарская волость относилась к Барнаульскому уезду. «Ну вот, и я отвоевался, – сказал этот человек, узнав Кружилина, и опять крепко тряхнул ему руку. – Сейчас, видно, придется потрудиться в уколе партии. Поработаем вместе».

И они работали, часто встречаясь, до самого тридцатого года, когда Шантара отошла ко вновь организованному Западно-Сибирскому краю. На несколько лет Кружилин потерял из виду этого человека, но полтора года назад снова встретились в Западно-Сибирском крайкоме. «А-а, Поликарп Матвеевич! – воскликнул тот радостно и энергично потряс руку. – Видишь, гора с горой не сходится... Опять свела нас судьба! Ну, заходи, потолкуем, что и как у вас в Шантаре...»

Работать с Иваном Михайловичем было легко и приятно. Неизменно мягкий и приветливый, он никогда не горячился, не суетился. Все это как-то не гармонировало с его угловатой, немного нескладной внешностью, но все равно от него веяло покоряющей силой и правотой. Сперва Кружилин не мог разобраться, в чем тут дело, в чем такая покоряющая сила этого человека. А потом понял – в глазах, во взгляде. Разговаривая, Иван Михайлович всегда смотрел на собеседника серыми глазами чуть грустновато, почти не мигая, и казалось, что его взгляд, проникая в душу, видит то, что другим никогда не разглядеть. И странно, что это не оскорбляло и не пугало собеседника, – во всяком случае, он, Кружилин, никогда не испытывал под взглядом секретаря крайкома таких чувств, – это просто лишало возможности что-то утаить, заставляло

выкладывать все, и плохое и хорошее, что есть на душе. И заставляло выкладывать именно потому, что взгляд Ивана Михайловича странным, необъяснимым образом заставлял поверить – перед тобой человек, который все поймет, который не осудит за непонимание каких-то важных вещей, поможет понять то, чего еще не понимаешь.

Именно таким взглядом и смотрел сейчас Субботин на Кружилина.

В просторном, чистом кабинете с потертым ковром на полу долго стояла тишина. Только круглый медный маятник настенных часов лениво и отчетливо ронял на деревянный пол секунды да, колеблемая ветерком, шелестела на окне голубоватая занавеска.

– Но... если я не понимаю таких вещей... – проговорил Кружилин, почему-то мучительно прислушиваясь к стуку маятника, – то как же я дальше... могу работать секретарем райкома?

– Вот и я об этом думаю, – глухо проговорил Иван Михайлович. Кружилин вздрогнул, медленно поднял голову. Секретарь вздохнул, поднялся. – Ладно, Поликарп, езжай домой.

Из крайкома Кружилин вышел со звоном в голове, с каким-то необычным чувством – его, Кружилина, кто-то долго и старательно жевал, но глотать почему-то не стал, а, смятого и изжеванного, выплюнул в дорожную пыль.

На вокзале Кружилин подошел к ободранной стойке, выпил залпом стакан теплой водки и, не чувствуя ничего, кроме тошноты и отвращения, сел в поезд.

«Как же так? – думал он всю дорогу под стук колес. – Ну ладно, пусть не понимаю... Почему же он, Иван Михайлович, не объяснил мне, чего я не понимаю... Ведь он может объяснить...»

Вернувшись в район, Кружилин остервенело взялся за дела, день и ночь мотался по селам и деревням. В разгаре был сенокос. Поликарп Матвеевич иногда сбрасывал гимнастерку, брал вилы, становился возле стога и, обливаясь потом, целыми днями метал тяжелые, пахучие пласты.

Однажды он вот так же проработал весь день в михайловском колхозе. Стога ставили на лугу возле Громотухи. Вечером Кружилин выкупался в прохладной реке, сел на каменную, уже нахолодавшую плиту, стал слушать, как ворчит Громотуха на перекате. Сзади простучали дрожки, слышно было, как они остановились, как кто-то подошел.

– Ну что, Матвеич, наработался? – По голосу Кружилин узнал михайловского председателя Панкрата Назарова.

– В охотку оно хорошо ведь, Панкрат. Кровь разгоняет.

– Хорошо, – согласился его бывший заместитель по партизанскому отряду, присел рядом, загреб в кулак свой широкий подбородок. – Только охота порой пуще неволи бывает.

Кружилин покосился на Панкрата, торчащего в полусумраке каменной глыбой, но ничего не сказал.

– А ведь по этому броду мы тогда перебирались, как от Зубова-то убегали. Помнишь, поди?

– Как же, – откликнулся Кружилин. – По этому.

Потом долго молчали, думая каждый о своем.

– Ну, а что там про Ваньку Савельева слышать?

– Не знаю. Что услышишь?

– Ну да, ну да, – дважды повторил Панкрат. – А ить невинный все же он. За напраслину мыкается. – И, наверное, потому, что Кружилин никак не отозвался на эти слова, спросил: – Как же это? Что ж ты-то? Ведь секретарь...

Что было ответить Кружилину? Долго он молчал.

– Объяснить тебе – так и не поверишь... что и секретарь райкома порой бессилён что-либо сделать.

Шумела река, на западе мутнели последние клочки облаков, будто их, как комья снега, съедала, разливаясь по всему небу, черная вода. Ночь обещала быть глухой, непроницаемой и – почему-то казалось – бесконечно долгой.

– Да-а, – вздохнул Назаров, полез за кisetом. – Живешь подольше – узнаешь побольше. Это так... Брательник это его засадил, Федька. А вот – почто? Зачем? Ты-то как думаешь?

– Что же я, Панкрат? Не знаю, – признался Кружилин. И, уже думая не столько о Федоре Савельеве, сколько об Алейникове, прибавил: – Громотуха вот летом шумит, а зимой молчит. Это понятно. А что с людьми происходит, трудно порой разобраться. Видно, хорошо ты сказал: чтобы узнать побольше, надо пожить подольше.

Они вместе встали, дошли до Панкратова ходка.

– Ну, прощай, Панкрат... Пойду запрягать своего Карьку.

– Про Агату я хотел еще сказать... Бригадиром ее, думка есть, поставить.

– Бригадиром? Мужчин, что ли, нет в колхозе?

– Куда они делись? Да иная баба дюжины мужиков стоит.

Назаров ждал, что ответит Кружилин.

– Не надо ставить, – негромко уронил тот в темноту.

Председатель вздохнул.

– А ежели на молочную ферму ее?

– Не надо и на ферму. Ничего не надо, Панкрат, пока. Пусть так...

– Ну да... Видать, твоя правда, так оно пока лучше будет.

После происшествия в Новосибирске, после разговора с секретарем крайкома Кружилин все же не оставил намерения заслушать и обсудить на бюро работу райНКВД. Но в первые дни после всех этих передрыг никак не мог собраться с мыслями. Поездки по району немного успокоили его. Вернувшись в Шантару, он дал работникам райкома указание готовить материалы на бюро.

На другой же день утром позвонил Алейников.

– Слушай, тут твои работники пришли. Требуют какие-то материалы.

– Это не мои работники, а сотрудники райкома партии.

– Так вот... – Алейников секунду-другую помедлил. – Никаких материалов я им не дам.

– В таком случае что же, будем разбирать на бюро райкома персональное дело коммуниста Алейникова.

Трубка опять помолчала несколько секунд. Поликарп Матвеевич слышал только, как редко и тяжело дышал на другом конце провода Алейников.

– А я, Поликарп Матвеевич, очень боюсь... – послышался наконец ровный, негромкий, какой-то страшный своей медлительностью и отчетливостью голос Алейникова. – Я очень боюсь, как бы не пришлось нам разбирать на бюро персональное дело другого коммуниста... коммуниста Кружилина. А этого мне очень бы не хотелось... – И Алейников положил трубку.

Поликарп Матвеевич в ярости заходил по кабинету. Чуть успокоившись, он позвонил Алейникову. Но бесстрастный женский голос ответил, что Яков Николаевич уехал по делам в район и вернется не скоро.

– А когда именно?

– Не знаю...

Кружилин принялся звонить в крайком. Но Ивана Михайловича не оказалось на месте. Не было его и на второй и на третий день. А на четвертый секретарь крайкома позвонил сам.

Поздоровавшись, Субботин вдруг начал расспрашивать о здоровье, о житье-бытье Кружилина, что сразу же насторожило Поликарпа Матвеевича.

– В чем дело, Иван Михайлович? Говорите сразу.

– А дело в следующем, Поликарп... У крайкома есть мнение перебросить тебя в Ойротию. Там слабоваты национальные кадры, помогать надо...

– Так... Понятно... – промолвил Кружилин.

– Что «понятно»? – голос секретаря крайкома посуровел. – Ты отбрось-ка задние мысли. Дело партийное.

– Куда же конкретно хотите меня? В какой аймак? Так, кажется, районы в Ойротии называются?

– Направишься в распоряжение Ойрот-Туринского обкома. Они там лучше решат, как тебя использовать...

...В Ойротской области Кружилин проработал до начала 1941 года на должности заместителя председателя райисполкома одного из самых глухих районов. Он совершенно потерял из виду Ивана Михайловича и Алейникова, потому что Ойротия вошла в состав организованного в том году Алтайского края.

Поликарп Матвеевич уже смирился со своей участью, уже решил, что никогда не встретится больше ни с тем, ни с другим. Но в январе нынешнего года его вдруг вызвали в Барнаул и сообщили, что, по просьбе Новосибирского обкома партии, Алтайский крайком нашел возможным освободить его в ближайшее время от работы и направить в распоряжение Новосибирска.

«Это – Иван Михайлович!» – почему-то сразу же подумал Кружилин.

...А еще через полмесяца его опять избрали секретарем Шантарского райкома партии.

– Постой, а Алейников все там же работает ведь? – спросил Кружилин у Ивана Михайловича, перед тем как ехать на районную партконференцию.

– Все там же.

– Но ведь... насколько я понимаю, именно из-за Алейникова...

– Ну, время идет, – перебил Иван Михайлович. И было видно, что секретарь обкома не желает об этом разговаривать. – Я думаю, оба поумнели немного, теперь сработается.

Поликарп Матвеевич и понимал и не понимал, о чем говорит секретарь обкома. Времени действительно прошло немало – трудного, лихого. Громкие судебные процессы над участниками троцкистско-бухаринского блока в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах заставили Кружилина на многое смотреть по-другому. В том числе и на то, что делал в районе Алейников. Что ж, видимо, враги Советской власти к концу второго десятка лет ее существования действительно по-настоящему подняли голову. Этому хочешь – верь, хочешь – не верь, а Киров был убит, один за другим пали от их рук Менжинский, Куйбышев, Горький, ходили слухи о покушении на Молотова, на самого Сталина. Нередко взлетали на воздух заводы, то и дело чекисты раскрывали заговоры, обезвреживали диверсионные группы. Что ж, видимо, были в чем-то виновны и Иван Савельев, и тот незаметный и тихий колхозник по фамилии Молчанов, которых арестовал Алейников? Может, действительно Савельев продал цыганам тех двух несчастных жеребцов, а Молчанов решил его выгородить? Одни убивают руководителей партии и государства, другие вредят Советской власти иным способом – кто как может. Но ведь и Панкрат Назаров и другие Михайловские колхозники оправдывают Савельева, не верят в его вину. Значит, и они вредители?

Разобраться во всем этом до конца, докопаться до истины было невозможно. И от этого кругом шла голова.

Но самое непонятное, а потому самое страшное для Кружилина было даже не в этом. А в том, что Яков Алейников тогда, еще в середине тридцать шестого, не позволил райкому разобратся в работе районных чекистов, пресек первую же попытку райкома в этом направлении.

Эти мысли Поликарп Матвеевич носил в себе тяжким грузом, не с кем было посоветоваться, некому было их высказать.

После отъезда Кружилина в Ойротию первым секретарем Шантарского райкома партии стал бывший работник Новосибирского обкома, некто Полипов Петр Петрович – человек грузный, приземистый и молчаливый. Все в нем было какое-то широкое – широкие плечи, широ-

кие скулы, широкий лоб. Даже нос был с широкими, как крылья, ноздрями. Кружилина он встретил внешне бесстрастно, только вскинул набрякшие веки, секунду-другую оглядывал его большими холодными глазами. «Пьет, что ли?» – мелькнуло у Кружилина.

И Яков Алейников встретил Кружилина молчаливо, сдержанно, не выказал ни радости, ни раздражения. Он очень изменился за эти несколько лет, сильно постарел, волосы, все так же гладко зачесанные назад, приметно поредели, на макушке явственно обозначалась будущая плешь. Поредели даже, кажется, его лохматые брови, косой рубец на щеке сделался каким-то багрово-синим. «Что за черт, и этот пьет, что ли?» – опять подумал Кружилин.

Да, изменился Яков Алейников, и вообще многое изменилось в районе. Все районные организации возглавляли новые, совершенно незнакомые люди. Кружилин знал, что некоторые из тех, с которыми он работал до отъезда в Ойротию, были арестованы. Арестован председатель райпотребсоюза Василий Засухин, бессменный начпрод в бывшем партизанском отряде. Когда отряд бывал в окружении, когда казалось, всех ждет неминуемая голодная смерть, Засухин ухитрялся непостижимым образом доставать где-то продовольствие – то с полдюжины отощавших баранов пригонят или притащат на плечах его люди, то привезут несколько кулей муки. Арестован заведующий райфинотделом Данило Кошкин, которого в отряде звали в шутку Данило-громило. Обычно тихий, неприметный, в бою он преображался, глаза лихорадочно загорались, Данило бросался в самые опасные места. По этой причине он и получил свое прозвище. Арестован и председатель райисполкома Корней Баулин, бывший начальник штаба партизанского отряда. За что, какова их судьба – спрашивать было нельзя, да и бесполезно. И он, Кружилин, этого никогда не узнает, если Алейников, задумчиво и уныло как-то сидящий сейчас на подоконнике, сам не расскажет или хотя бы не намекнет об этом...

В кабинете стояла мертвая тишина. За окном, куда глядел Алейников, истекал жарой самый длинный день в году. Сваренные зноем листья молодых топольков, растущих в палисаднике, висели черными лоскутьями. Поверх топольков в мутном и душном небе громоздились тяжелые иссиня-белые комья облаков, грозя с грохотом обвалиться на землю.

– Гроза будет, – сказал Алейников.

– Яков Николаевич, мне надо подготовиться к выступлению на партактиве, – промолвил Кружилин. – Если у тебя нету ко мне срочных дел...

– Срочных... – усмехнулся Алейников. – У человека все дела срочные, поскольку жизнь отмерена ему от звонка до звонка.

Как-то необычно звучали эти слова в устах Алейникова.

– Сегодня Иван Савельев из тюрьмы вернулся, – вдруг сказал Алейников. – В эту минуту к дому, наверное, подходит.

– Ну... и что же?

– Ничего... Отсидел – пусть живет. – Помолчав, он медленно повернул голову к Кружилину: – Чего ж не упрекаешь – зазря, мол, сидел, напрасно страдал?

Кружилин, прищурив глаза, в упор смотрел на Алейникова.

– Ты, Яков, что? Опять провоцируешь?

Алейников вздрогнул почему-то, точно его ударили, слез с подоконника, сел на стул возле стола Кружилина.

– Я думал – не вспомнишь. Не надо, Поликарп. Сложно все...

– Что – все?

– А все. И то, что Корней Баулин, Кошкин, Засухин арестованы, а ты снова здесь, снова секретарем райкома...

Алейников говорил, закрыв лицо руками. А Кружилин все больше и больше изумлялся.

– Тогда, в тридцать шестом, если бы ты не уехал, я бы тебя... наверное... Этот секретарь обкома... или, по-тогдашнему, крайкома, тебя уберег, отправил в глухой далекий угол... А тут Ойротия к Барнаулу отошла! Да, он, этот Субботин, умница...

– Но... погоди-ка, Яков, – сказал Кружилин, отодвигая лежавшие перед ним бумаги в сторону. – Если так, давай по порядку, Яков...

– Не надо. Ничего не надо. Ни по порядку, никак, – мрачно произнес Алейников, вставая. Вошла Вера с последними отпечатанными листками его выступления, положила их на стол.

– Я сегодня больше не понадобится?

– Нет. Иди отдыхай.

– Как тебе с Полиповым работается? – вдруг спросил Алейников, когда девушка вышла. После приезда Кружилина Полипов был избран председателем райисполкома.

– Как работается? – пожал плечами Кружилин. – Трудно за три-четыре месяца какие-то выводы делать. Сперва показалось – он вроде обижается, что на советскую работу перевели. Но, кажется, он просто по природе молчалив.

– Ну да, – неопределенно уронил Алейников. – Ладно, я пойду. – И двинулся к двери. Но, толкнув ее, остановился, потер пальцами висок. – Я, собственно, что-то ведь хотел спросить у тебя... Да, насчет этой девушки... как ее?

– Вера Инютина?

– Да, да... Как она печатает? Хорошая машинистка?

– Хорошая.

– Не уступишь ее мне? Мне, понимаешь, хорошая машинистка нужна...

– Бери, что же, если подходит. Если она согласится.

– А впрочем, ладно. Найду где-нибудь другую, – сказал вдруг Алейников. – До свидания.

Алейников ушел, а Поликарп Матвеевич долго еще смотрел на дверь, пытаясь собрать свои мысли. С Алейниковым что-то вроде опять происходит. Но что?

Кружилин знал, что в личной жизни у Якова произошла трагедия – в тридцать шестом году погиб его сын. Купаясь в Громотухе, он вместе с другими ребятами взобрался на паром. Когда паром был на середине реки, ребяташки с визгом попрыгали в воду и поплыли к берегу. Прыгнул и сын Алейникова, но мальчик даже не скрылся под водой, тело закачалось на поверхности тяжелым поплавком, густо окрасив воду кровью.

Весной, в большую воду, по Громотухе сплавляют много леса. Особенно смолистые, тяжелые, как камень, бревна нередко тонут. Однако течение все-таки волочит потихоньку вниз топляки; цепляясь за коряги и камни, они медленно ворочаются под водой. Нередко случается, что тяжелые бревна легко, как бумагу, пропарывают днища паромных карбузов.

Об такой топляк и ударился головой сын Алейникова.

А через полгода от Якова ушла почему-то жена. Кружилин знал ее плохо. Это была женщина высокая, красивая, гордая, но, кажется, добрая и умная. При редких встречах она всегда здоровалась первая, приветливо улыбалась, но проходила мимо торопливо, высоко вскинув маленькую головку с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Звали ее Галина Федосеевна, она была врач, работала в районной больнице. Там же работала и жена Кружилина. Она рассказывала, что Галина Федосеевна хороший врач, но в больнице ее не любили и боялись. Видимо, из-за мужа.

Яков привез ее из Новосибирска зимой тридцать четвертого или в начале тридцать пятого года. До Алейникова она была уже замужем, в Шантару приехала с восьмилетним мальчиком. И Яков, кажется, любил неродного сына. Своих детей у него не было...

Поликарп Матвеевич расхаживал по кабинету из угла в угол, ворошил седые волосы, раздумывая об Алейникове, о Субботине, который сегодня открылся вдруг ему в каком-то новом свете. Да, действительно, Иван Михайлович, кажется, спас его от ареста, отправив в глухой далекий район. Он, Кружилин, не щадя жизни, не думая о своей жизни, дрался за Советскую власть, потому что это народная власть. Потом он все силы и весь ум, какой у него был, отдавал тому, чтобы укрепить эту власть. Но оказалось, что его, даже его, вдруг от кого-то и зачем-то

надо спасать, оберегать... Если так, если Субботин все понимал еще тогда, в 1936 году, почему он искренне и прямо, как коммунист коммунисту, не сказал, что же происходит в стране? Тогда неизбежно встал бы конкретный вопрос – почему коммуниста Кружилина надо спасать от коммуниста Алейникова? Ну что же, и встал бы, и на него должен был бы ответить, если мог (а кажется – мог!), секретарь крайкома партии. Должен был, обязан был – по занимаемой должности, по возрасту, по партийному стажу. Но не сказал, не ответил. Почему?

Долго еще Кружилин ходил по пустому кабинету. Он не заметил, как потемнело. Очнулся, когда над крышей оглушительно лопнул гром и мелкими осколками скатился куда-то в сторону Звенигоры.

«Мысли – мыслями, вопросы – вопросами, а кто все же из обкома к нам на актив придет?» – подумал он и снова закрутил телефон.

– Алло, Катя? Ну что же, дочка, город?

Новосибирск по-прежнему молчал.

* * *

Выскочив из райкома, Вера Инютина глянула на заваленное тяжелыми облаками небо и быстро пошла за деревню, к громотухинской протоке.

Едва миновала опоры электропередачи – ударил первый раскат грома. Сзади, над Шантарой, уже моталось рваное пепельно-серое полотнище дождя. Сняв туфли, она побежала. Но стена дождя была все ближе. И вот первые редкие капли, как пули, тяжело и глухо ввинтились вокруг нее в дорожную пыль, дробью хлестанули по спине, по шее.

– Э-эй, рыбаки, где-е вы?! – закричала она, оглядывая пустынный берег Громотухи.

Из-под яра выскочил Семен, замахал руками. Ударила ослепительно молния, растеклась сотней изломанных ручейков по всему небу и потухла. Стало темно, и в этой темноте тихонько почему-то гугукнул гром, и тут же с шумом, с ревом обрушился ливень.

Семен что-то кричал, карабкаясь на яр. Он подбежал, грубо схватил ее, промокшую до нитки, толкнул вниз по скользкому уже обрыву, заволок под затравеневший земляной козырек.

– Под грозой, в голой степи?!

– Это верно, расколола бы молния головешку-то надребезги, – сказал Колька и хихикнул.

– Поболтай у меня! – прикрикнула Вера на брата, строго оглядела безмолвно стоявших у земляной стены Димку и Андрейку, обдернув платье, туго облепившее ноги, тоже стала к стенке, касаясь плечом Семена.

Река молочно пенилась под дождевыми струями.

Так они стояли долго. Вера чувствовала сквозь мокрое платье горячее тело Семена, голова у нее чуть кружилась.

Наконец дождь кончился. Димка, Андрей и Колька тотчас побежали к воде и замахали удилищами.

Продавив лучами рыхлые, обессиленные комья облаков, расшвыряв их в стороны, показалось солнце. Громотуха снова засверкала и заискрилась. Речной галечник, быстро просыхая, дымился по всему берегу.

– Удочку тебе смастерить, что ли? – спросил Семен у Веры. – Леска у меня запасная есть. – И вдруг обнял ее, притянул к себе.

– Еще чего! Ребятишки-то вон... – сердито воскликнула она и пошла по берегу прочь, вверх по течению.

– Вера!

Она не откликнулась, ступила вдруг в воду и побрела через протоку на остров. Глубина в том месте была небольшая, вода доходила ей всего до пояса. Но она шла, почему-то высоко над головой подняв туфли.

Семен сел на теплые камни, закурил, поглядывая на Веру. Она перебрела на остров, вышла на песчаную косу, сняла и выжала платье, развесила его на ветках кустарника и легла на песок. Смуглое, загорелое тело ее почти сливалось с рыжим песком, было незаметно.

Семен не мог понять, любит он Веру или нет. Они всю жизнь прожили рядом, на виду друг у друга, учились в одном классе. В детстве Семен часто поколачивал ее, потому что Верка всегда совала свой конопатый нос куда не нужно, всегда выводила их мальчишечьи секреты. Побой она переносила молча, никогда не жаловалась. Это вызывало у Семена уважение к ней, ему было после драк всегда стыдно. Верка, видимо, чувствовала это, смело подходила, стараясь заглянуть в глаза, говорила:

– Ну что ты, не надо. Ты думаешь, я такая, да? А я – не такая.

А вот это Семену уже не нравилось. И то, что она понимает его состояние и что уверяет, будто она какая-то не такая. «Что у нее гордости, что ли, нету?» – думал он. И еще он думал, что она, наверное, хитрая.

Когда у Веры начали вспухать бугорки груди, Семену было почему-то стыдно, он избегал встречаться с ее круглыми, как воробьиные яйца, глазами. И опять она все понимала. Поймав на себе его случайный взгляд, она, сама до ушей наливаясь краской, кричала:

– Чего глаза пялишь? Бесстыжий!

«Хитрая», – решал Семен, хотя, как и прежде, не понимал, в чем ее хитрость, да и есть ли она в ней вообще.

Года через два Вера превратилась в хрупкую, красивую девушку. Ноги ее стали стройными, крепкими, тонкие, всегда бесцветные губы припухли, зарозовели, круглые глаза удлинились, словно прорезались в стороны, и уже не походили на воробьиные яйца. От всего ее прежнего облика остались только веснушки вокруг носа, но и их стало меньше.

– А знаешь, Верка, если бы веснушки совсем исчезли, мне было бы жалко, – однажды неожиданно для самого себя сказал Семен. Была весна, он и Вера оканчивали десятилетку, через три дня начинались экзамены. Весь их десятый класс решил устроить коллективный поход за Громотуху, в заливные луга, за цветами, чтобы украсить классы, где будут проходить экзамены.

– Чего? – обернулась Вера, набравшая уже большой букет. И лучисто улыбнулась. – Вот чудак...

Ее подбородок был измазан цветочной пылью.

Когда переправлялись на пароме в село, Семен стоял у перил, смотрел на мутную, еще не успевшую посветлеть воду и видел там, в этой воде, Верины лучистые глаза и ее подбородок, измазанный желтой пылью.

– Слушай, Сем, – услышал он ее шепот. – Давай удерем сегодня в кино?

– А экзамены? Готовиться надо же...

– Подумаешь... Сдадим, – все так же заговорщически прошептала девушка.

Семен еще никогда не ходил в кино с девочками. В клуб он вошел как в пыточную камеру, ему казалось, что все с удивлением и осуждением смотрят на него.

– Вот чудак, – опять, как днем, сказала Вера, толкнула его незаметно кулаком в бок. – Да ты чего? Подумаешь...

Обратно они шли молча. За Шантарой где-то розовела еще узенькая полоска неба, но быстро таяла, гасла, как догорающая спичка. Над головой мигали, покачиваясь, белые крупные хлопья звезд.

Они дошли до дома и остановились под плетнем. Надо было прощаться, но Семен не знал, как это сделать.

– Я думала, ты умрешь в клубе со страха, – сказала Вера.

Это Семена разозлило.

– Я? Я? – Он схватил ее за плечо. Она сразу подалась, прижалась к нему. Чувствуя коленями ее мягкие ноги, он ткнулся губами в ее щеку.

«Вот и все... А дальше что?» – застучало у него в голове. Он стоял, не отпуская Веру, и она не собиралась освобождаться.

Он не раз слышал рассказы деревенских парней, как они смело и решительно обращаются с девками, и решил, что теперь, видимо, надо взять Веру за грудь. Он это и сделал, ощутив, как часто и сильно колотится под ладонью ее сердце.

– Ну-у, а это, Семушка, еще рано, – спокойно произнесла она, сняла его руку. И то, что она сказала это ровным, хозяйским каким-то голосом и что не откинула его руку, а просто взяла и сняла ее тихонько, обидело, оскорбило Семена, чем-то замарало вроде. – А ты не такой уж и стыдливый, – промолвила она, прислонясь к плетню. – Правда, когда темно. – И хохотнула. – Пойдем походим маленько?

Не дожидаясь согласия, взяла его за руку, потянула.

Неприятное чувство к Вере быстро прошло, ему снова захотелось обнять ее. Но он боялся спугнуть в себе состояние покоя и тихой радости, вдруг охвативших его. И ему казалось, что Вера испытывает то же самое.

– Что ты собираешься делать после школы-то? – спросила она.

– Не знаю. В армию ведь скоро. А пока отец советует в МТС податься. На курсы трактористов.

– А что? Неплохо. Тракторист в деревне – первый человек. А мне вот никто ничего не посоветует. Счетоводом, может, куда пойду. Или секретарем-машинисткой. А целоваться, Сема, вот так надо... – И она взяла Семена за голову, крепко поцеловала.

Семену опять стало неприятно, он почти оттолкнул ее.

– Сема, да ты что?!

– Ничего... Где так целоваться-то научилась?

– А, вон что! – В темноте глаза ее блеснули пронзительно и ярко. Потом уткнула голову ему в грудь. – Ах, Семушка, Семушка... Ну, я какая-то... Вижу все поглубже, чем ты. Но ты ничего такого не думай. Я – честная. Я берегу себя для кого-то. Вот для тебя, может. Ты... ты любишь, что ли, меня?

– Не знаю я...

– И я не знаю, – произнесла она. – Видишь, я ведь сама к тебе... на тебя повесилась. Это я все понимаю. Нехорошо, может. Но ты мне нравишься. А люблю ли – не знаю.

Такая откровенность Семену понравилась...

И вот они встречаются уже два года. От призыва в армию Семен получил отсрочку, потому что в Шантарской МТС не хватало механизаторов.

– Может, и вовсе не возьмут, – радовалась Вера.

Однажды (было это в прошлом году, в звездную августовскую ночь), когда они нацеловались до боли в губах, Вера вдруг вырвалась, отбежала и, присев на землю, заплакала.

– Не прикасайся ко мне! – закричала она, когда Семен подошел.

Успокоившись, сказала задумчиво:

– Знаешь, Сем... Я будто бы люблю тебя. А ты?

– И я вроде тоже... Тянет меня к тебе.

Она вскинула искрящиеся в жидком лунном свете глаза и опустила их.

– Ну, тянет – это еще не любовь. Твоего отца и мою мать тоже тянет... – Но умолкла на полуслове, испугавшись.

– Как – тянет? Куда – тянет?

– Никуда. Так я... – быстро проговорила она. – Ох, Семка ты, Семка! Пропаду я с тобой! – И побежала в степь.

В ту ночь они убрели далеко за Шантару, до рассвета лежали на забытой, почерневшей от дождей копне сена, смотрели, как чертят небо густо падающие звезды.

– Почему же ты пропадешь со мной? – спросил Семен.

– Ты, Сема, честный парень, не добиваешься, чего до свадьбы не положено, – заговорила Вера, помолчав. – Это хорошо, я с тобой без опаски. А с другой стороны, может, и плохо.

– Непонятно...

– Плохо, если вообще ты в жизни так будешь жить. Жизнь легкая тому, кто не раздумывая берет, что ему надо. Хватает цепко...

Заложив руки под голову, Семен глядел на блеклое ночное небо, усеянное в беспорядке звездами, думая о ее словах. Где-то с краю небо уже набухало синью, звезды там мигали торопливее и беспокойнее, а потом беззвучно гасли, тонули в этой сини.

– Вот мой отец – рохля. Ему и в жизни ничего не дается. Кроме пьянства. А твой отец не такой, не-ет, я вижу...

– Что ж ты видишь?

– А всё, всё... Он умный жить. Он развернется еще. А вот ты? – Вера склонилась над Семеном. И он ошутимо почувствовал, как ее глаза шарят по его лицу, как ее черные, невидимые в темноте зрачки неприятно оплетают лоб, щеки, губы словно паутиной. – А вот ты – такой же, как твой отец, а? Семушка, родимый, помоги же мне понять! То кажешься ты мне – такой, то чудится – нет, не такой... а больше на моего отца похожий...

Семен порывисто приподнялся, провел ладонью по лицу, точно оно и впрямь было облеплено паутиной.

– Фу-ты!.. Такой, не такой... Что с того? Тебе-то что?

– А как же, Сема?! Я – женщина, баба. Мне замуж за кого-то выходить. У девки до замужества – одно богатство. Отдать его надо не зря, не попусту, не кому попало. А то после-то кто меня возьмет? Кому объедки чужие нужны?

– Мразь ты, однако! – И он пошел.

– Семка, милый... – Она догнала его. – Ну, прости, ежели что я не так сказала. Я – открытая ведь. Сказала, а ты выбирай. Люба я тебе со всем, что у меня есть, – бери меня. Не прогадаешь. Пластом стелиться буду... Ноги твои мыть и воду пить. Я – такая...

– Отстань ты! – закричал он, стряхивая с плеч ее руки.

– А ты, чем так, ударь меня лучше! Ну, ударь!

– А что же ты думаешь?! Ты мужа выбираешь, как цыган лошадь, – по зубам!

И, размахнувшись, ударил ее по лицу.

Вера качнулась, но с места не тронулась, только чуть сторбилась, всхлипнула. Стянула с головы платок, вытерла слезы. И лишь потом пошла прочь, больно резанув его невидимыми в темноте зрачками...

Семен решил, что покончил с Верой раз и навсегда. Однако через два-три дня его начали мучить угрызения совести. Если рвать с ней, то это надо было сделать не так грубо и бесчеловечно. Да и что она такое ему сказала? Каждая девушка хочет выбрать себе мужа не только поприглядней, но и позацепистей, что ли, в жизни. Не каждая лишь так вот прямо скажет об этом. А Верка сказала. Что ж тут плохого? И, кроме того, она красивая. Для других, может, и нет, но ему нравилось в ней все – острый взгляд длинноватых, чуть раскосых глаз, крапинки вокруг носа, припухшие жадные до поцелуев губы, гладкая, немножко скользкая, как шелк, ее кожа.

Но тут его послали убирать хлеба в Михайловский колхоз. «Ну и все! – подумал он даже с облегчением. – Это конец».

Но это был не конец. Когда он, уже глубокой осенью, вернулся в Шантару и, вымывшись в бане, шел огородом к дому, от плетня, который разделял усадьбы Савельевых и Инютиных, качнулась в сумраке легкая тень.

– Семка, изверг ты... Ведь я извелась прямо вся. Семушка, милый... – Вера ткнулась лицом в его распахнутую, влажную еще после бани грудь.

От неожиданности Семен растерялся.

– Ударил я тогда тебя. Извини...

– Нашел что вспоминать! Покрепче надо было... – В глазах девушки подрагивали две звездочки. Семен отводил свой взгляд, остерегаясь встретиться с ее зацепистыми зрачками. Он теперь их боялся. – Сем, да ты чего? Ну, глянь на меня! Да люблю, люблю же я тебя!

– Я, Вера, много думал об нас с тобой... – Семен отстранился. – Ты брюхом хочешь жизнь прожить. А жить надо сердцем.

– Глупенький! Вот глупенький! – Она беззаботно и радостно засмеялась. – Жить надо, Сема, по-разному. И брюхом, и сердцем. Я не люблю таких, которые только – сердцем. И даже жалею их.

– Почему?

– На яички-болтуны они похожие. Сидит-сидит на них курица, а все зря. Так ничего из них и не вылупится. – Помолчала и добавила: – Вроде и не на земле живут. Бесполезные люди.

«Может быть, она и права...» – опять подумал Семен.

И все началось у них сначала...

После Нового года она уже прямо начала спрашивать, когда же они поженятся. Семен отшучивался, отвечал неопределенно. Вера двигала тонкими бровями, розовые крылышки ноздрей у нее недовольно раздувались.

Как-то холодным мартовским вечером Семен убирал скотину. Накидав корове и двум овечкам сена, он вышел во двор и залюбовался закатом. Раскаленное докрасна небо дымилось, а самый его край, который касался земли, уже подплавился, подплыл янтарной жижей. И туда, в жидкий янтарь, медленно опускалось огромное, кроваво-красное солнце и словно само плавило, таяло, как кусок масла на горячей сковородке. Последними лучами солнце обливало еще землю, багрово отсвечивало в окнах инютинского дома. Пробиваясь сквозь ползущий со стороны ночи холодный туман, оно бледно окрашивало угрюмые скалы Звенигоры, трепетало на заснеженных холмах. И от этого казалось, что камни шевелятся, что вся огромная гора тяжело ворочается в зыбком вечернем тумане, укладываясь на ночь.

Семен стоял, опершись о вилы, смотрел на такое чудо и улыбался, не замечая, не сознавая, что улыбается.

В себя его привел скрип калитки. Вбежала Вера, ни слова не говоря, потащила на сеновал. Там со смехом опрокинула на спину, навалилась, принялась целовать холодными губами. Поцелуи ее были как укусы.

Семену было жалко, что она не дала досмотреть закат.

– Ненормальная ты.

– Ага, я – такая, – согласилась Вера и, прижимаясь плотнее к нему, зашептала в ухо просяще и тоскливо: – Семушка, ну когда же? Свадьба-то? А? Сем?

Семен вздохнул.

– Выбрала, значит, мужа? – И с неприятным чувством опять подумал, вспоминая, что ее поцелуи были похожи на укусы.

– Ага, выбрала.

– И жалеть не будешь?

– Никогда, никогда, – дважды мотнула она головой.

Семен подавил новый вздох, сел. Вера вдруг беззвучно заплакала.

– Чего ты еще?

– Будто я на смерть тебя волоку. На аркане, – с обидой сказала она. – А мне дома глаза стыдно показывать. Я слышала, как отец выговаривал на днях матери: «Что у них с Семкой-то?»

Гляди, притащит тебе сокровище в подоле...» Так что, Сема, надо или к берегу, или от берега, в разные стороны...

– Ну ладно, – помолчав, вымолвил Семен. – Сейчас какая свадьба может быть? Давай – осенью.

– Давай, – сказала Вера, по-детски вытерла кулаками глаза. – Так я и дома скажу. И ты своим скажи...

Поговорить об этом с родителями для Семена было не так просто. Собственно, мать сразу, с полуслова, поняла бы его. Да она, кажется, все знает, догадывается, хотя никогда ни одним жестом, ни одним словом не показывает этого. Другое дело – отец. Семен знал, что отец не любит его. И сам Семен не любил отца. Они всегда были друг для друга чужими. Почему – Семен понять не мог, да и никогда не пытался разобраться в этом. С тех пор как Семен помнит себя, отец был ему уже чужой. Не было случая, чтобы отец как-то приласкал Семена, сказал ему дружеское слово. Он всегда проходил мимо Семена как мимо пустого места. Семен принимал это как должное и платил отцу тем же.

Потом Семен узнал, почувствовал детским чутьем, что отец не любит и мать, не уважает ее. С тех пор пропасть между ними сделалась еще глубже, стала год от году шириться.

Однако не это было главным. Главное было в самой Вере. Семен знал, что она будет хорошей, преданной женой, но его пугала ее хладнокровная расчетливость, с которой она подходила к людям, к жизни, к самой любви.

Так до сих пор родителям он ничего не сказал.

И вот – до осени не так уже далеко, Вера давно перестала спрашивать, любит или не любит ее Семен, она просто ждет осени, и только Семен без конца задает себе этот вопрос. Чем ближе осень, тем чаще задает. А чем чаще задает, тем становится мрачнее и раздражительнее. И что странно – Вера по-прежнему нравится ему, нравится ее лицо, ее глаза, все ее тело. Но едва подумает о свадьбе – там, за этой чертой, ему ничего не видится, там черная, пугающая пустота. Как все это объяснить Вере? Да и надо ли объяснять? Все равно назад пути нету. Да он, кажется, и не хочет, чтобы был...

Камни после дождя давно высохли и перестали дымиться, накалились, солнце по-прежнему палило безжалостно и нестерпимо. Где-то за спиной сухо и монотонно трещали кузнечики.

– Ты что, Семен? – крикнул, подбегая, Колька, схватил ведро. – Клёв-то здоревенный!

– У меня просьба к тебе, Николай... – проговорил Семен. – Мне надо... в одно место тут сходить. Ты присматривай за Димкой и Андрейкой.

Колька мотнул крючковатым носом, ухмыльнулся.

– Понятно. – И вприпрыжку побежал по берегу.

Семен поднялся и пошел в другую сторону. Потом снял брюки, рубашку и побрел через протоку, к острову.

Едва он ступил в воду, Вера, неподвижно лежавшая на песчаной косе острова, вскочила, натянула платье и скрылась в кустах.

Перебравшись на остров, Семен долго бродил по зарослям, звал ее, но она не откликнулась. Он уже начал сердиться, когда Вера кошкой бросилась на него из лопухов, со смехом повалила в траву, начала целовать. Семен легко подмял девушку под себя, увидел прямо перед собой, близко-близко, ее испуганные, дикие глаза, в которых подрагивали желтые точки, и почувствовал, как по его жилам разливается огонь, а мысли, сознание – все заволакивается жарким, тяжелым туманом.

– Семка, не смей! Не смей... – услышал он, как из-под земли, Верин голос. Это его сразу отрезвило.

Он отпустил девушку, сел, полез за папиросой. Вера отползла в сторону, в кустарники, обдернула платьишко на голых ногах. И все так же подрагивали оттуда, из полусумрака зарослей, желтые точки в ее напуганных глазах.

– Когда буду законная, тогда пожалуйста... Сколько хочешь, – проговорила она.

Семен усмехнулся.

– А может, Верка, не надо, а?

– Чего не надо? – Она тревожно приподняла голову.

– Ничего не надо... Свадьбы этой.

Вера вскочила, вытянулась.

– Как не надо? Не любишь, что ли? Не нравлюсь?

– Не в том дело...

– А в чем?

– Не знаю... Или хотя бы попозже, а? Не этой осенью?

Вера подошла, опустила перед Семеном на колени, взяла сухими ладонями его голову.

– Ты что это, Семен? Не-ет, никак нельзя позже. Вот еще мне! Ну-ка, погляди в мои глаза! Слышишь, Сема? – И прижала его голову к своей груди. – Да как мы друг без друга жить будем?

И, как когда-то давно, Семен снова услышал – ее сердце бьется сильно и гулко, частыми-частыми толчками. «А может, и верно, нельзя нам друг без друга?» – подумал он.

* * *

А в это время на обочине проселочной дороги, которая поднималась на невысокий горбатый увал, а потом, огибая Звенигору, спускалась в синюю долину, где лежала деревня Михайловка, сидели двое – тот самый человек с котомкой, привлечший внимание Семена, и немолодая уже, лет под сорок, женщина, маленькая, высохшая, в старенькой, залатанной кофтенке, с длинными косами, вывалившимися из-под платка. Собственно, сидел только мужчина, а женщина, распластавшись, лежала на земле, уткнув лицо в его колени. Она плакала, спина ее вздрагивала, и мужчина осторожно гладил ее по острым лопаткам, по голове, брал в руки ее косы, подносил к своему лицу, словно хотел вытереть слезы. Но он не плакал, глубоко ввалившиеся его глаза были сухи, смотрели вокруг жадно, удивленно и чуть испуганно.

– Агата, земля сырая все же, – проговорил мужчина, не выпуская из рук ее кос. – Как же ты узнала, что я сегодня приду?

– Как? – Агата оторвала голову от колен мужа. – Сердце подсказало, Ванюшка.

– Дождь ведь. Гроза заходила.

– Что ж гроза... Шесть годов на дорогу эту глядела. А сегодня – заныло сердце.

– А я гляжу – бежишь. Ноги так и отнялись...

У Ивана действительно одеревенели ноги, палка выпала из рук, когда он увидел бегущую навстречу жену. Сзади его уже шумел, приближаясь, ливень, над головой с треском распарывалось аспидно-черное небо, обломки его с грохотом валились вниз, сотрясая землю. Но Иван Савельев ни на что не обращал внимания, ничего не видел, кроме этой женщины, бежавшей к нему сквозь тугой и пыльный ветряной вал, который катил перед собой ливень. На какой-то миг пыль скрыла ее от глаз, но потом она появилась, прорвалась сквозь ветер и, подбежав, обессиленная, молча упала Ивану на руки. И тотчас накрыл их ливень, больно хлестали тяжелые водяные струи, а они все стояли и стояли, безмолвно прижавшись друг к другу.

Так и простояли, пока дождь не кончился. Потом отошли на обочину и сели, по-прежнему не сказав друг другу ни слова.

Ключья грязноватых облаков уползали за горизонт, над Иваном и Агатой было теперь только чистое синее небо да там, выше неба, жарко горевший солнечный диск, обливающий их теплом и светом.

Оттуда, где было солнце, пролилась песня жаворонка. Она раздалась неожиданно и так же неожиданно умолкла. Потом раздалась снова. Иван поглядел на небо и улыбнулся обветренными губами. Ему почудилось, что жаворонок – маленькая серая птичка – тянул вверх свою песню, как звенящую цепочку, в клювике, но вдруг выронил, тотчас нырнул вниз за песней-цепочкой, успел подхватить ее у самой земли и снова понес вверх.

Первому жаворонку откликнулся второй, третий. Скоро все небо, казалось, было заполнено, залито до краев их песнями, но Иван, сколько ни всматривался, не мог заметить ни одной птички. И он не знал уже – вверх, от земли, в это бездонное небо уносят они свои песни или, наоборот, спускают песни-цепочки с неба на землю. Да это было и неважно. Важно, что песни были слышны, что они заполняли своим звоном все вокруг.

– Жизнь-то, Агата, видишь, не кончилась, – тихо промолвил Иван.

– Я их, проклятых, терпеть не могу, этих жаворонков. В тот день, когда тебя Яшка Алейников увез, они все звонили...

Иван сдвинул белесые брови, на лбу его глубже обозначились морщины.

– А я их зимой и летом слышал. Проснусь ночью – холодно в бараке, за стеной выюга воет. Прислушаюсь – нет, поют жаворонки. И теплее вроде, легче.

Агата удивленно поглядела на мужа круглыми, темными, как смородины, глазами.

– Как ты вынес все?

– Человек – он привыкливый.

– А я сперва все письма от тебя ждала.

– Я был без права переписки... Ну, рассказывай, как вы тут?

– Да как? Володька и Дашутка ничего, здоровенькие...

– Значит... дочка у меня родилась? – хрипло произнес Иван, сухие губы его затряслись.

– Ваня, Ваня...

– А я все гадал – сын ли, дочь ли? И еще – живо ли дитё? И от этой неизвестности было тяжелее всего...

Агата гладила его жесткую, заскорузлую, скрюченную ладонь.

– Лопату, видать, частенько держал в руках-то?

– Да уж покидал землицы, всю собрать – со Звенигору холмик будет... Дочку Дашуткой, значит, назвала?

– Ага, Дарьей. Плохо?

– Нет, хорошо это – Даша. Ну, пойдем...

Над ними пели и пели жаворонки.

Когда взошли на увал, открылся вид на всю долину. На самом дне, разметавшись беспорядочно в разные стороны, поблескивая окнами и крышами, лежала Михайловка. Над домами бугрились тополя и березы, а посередине деревни стоял почему-то столб дыма, прямой и высокий.

Иван снял фуражку, долго с высоты смотрел на деревню, прижавшуюся одним боком к лесу. Ветерок шевелил его белые волосы.

– Мне все чудилось – не признаю деревни. Нет, признал. Все такая же. Тополя сильно подросли.

– Какой же ей быть? Из нового – ток построили, видишь деревянные навесы на северном краю? Да два скотных двора – звон прямо за дымом. А боле ничего вроде. Да и зачем боле? Не надо. Ток и коровники добротные выстроили. Из лиственницы. Навек хватит. Панкрат – он хозяйственный.

– Как он, Панкрат?

– Постарел шибко. Тише стал, нелюдимей. И кашляет все. – И вдруг Агата всхлипнула. – Уж и не знаю, как бы я, если бы не Панкрат...

– Помог, значит?

– Да разве мне только? Всем, у кого худые домишки, перетрясти помог. С района приезжие часто ругали его: куды, дескать, колхозные деньги транжиришь? А он: разве себе беру? Шибко народ Панкрата уважает.

– А что за дым это с того дома, под железом?

– А пекарня это. Два года назад построили, забыла я сказать. А нынче мельницу водяную Панкрат ставит. А то, говорит, за помол много берут... Он, председатель наш, такой, у него копейка зря не выскользнет. А это пекарня. Для косарей хлеб печем... Эвон косари на лугу.

Километрах в трех от деревни, неподалеку от Громотухи, в широкой низовине, пестрели бабьи платки, поблескивали потные голые спины мужиков. Косцы шли рядами, дружно взмахивали косами.

Ивану захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям: здравствуйте, мол, вот я и вернулся... А потом взять косу и косить, косить, молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым воздухом, поужинав, сесть к костерку и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чашобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было...

Улицы деревни были тихи, пустынные, в обмятых лопухах бродили свиньи и телята. Когда Иван с Агатой шли по деревне, из некоторых окон выглядывали старухи, долго провожали их взглядами.

Домишко Ивана обветшал, покосился, дощатая крыша провалилась, густо пестрела разноцветными лишаями.

– А говорила – у кого худое жилье, председатель перетрясти помог.

– Да ты что?! – испуганно воскликнула Агата. – Его тогда с потрохами бы съели!

– Понятно, – вздохнул Иван.

Переступив порог, Иван увидел большеглазую девочку в длинном, до пят, платьишке. Она возилась в углу с тряпичной куклой, пытаясь накормить ее изрезанной на тонкие пластики морковкой. Увидев незнакомого, заросшего щетиной человека, испуганно взмахнула ресничками, отступила к стене, пряча за спину самодельную куклу.

– Доченька... – шагнул к ней отец.

Девочка испуганно заплакала, кинулась к матери, уцепилась за ее юбку.

– Дашенька, это же тятка твой. Отец это, глупенькая... – гладила Агата по спутанным волосенкам дочь, не в силах унять слезы.

– Так... Ну, а сын где? Володька...

– Воду косарям возит. А пополудни в пекарню за хлебом приедет... Я пришлю его. Я, как сенокос начался, в пекарне ведь стряпаюсь.

Через час, побрившись, умывшись, переодевшись, Иван сидел за столом, ощущая, как непривычно кружится от одной-единственной рюмки водки голова. Агата рассказывала новости – кто умер, кто на ком женился. Некоторые события были трех-, четырех-, пятилетней давности, но для Ивана все было ново.

– А Кашкариху-то помнишь? Лушку Кашкарову? Все-таки перевез ее Макарка Кафтанов в Шантару. Купил дом и перевез, а сам опять в тюрьму. Рядом с твоим братом живет теперь Лушка...

Иван слушал, глядел на дочь, подперев щеки обеими ладонями. Девочка все еще не могла понять, что этот незнакомый худой человек – ее отец, сидела на другом конце стола, поглядывала на него, как зверек, сосала липкие конфетки.

Скрипнула дверь. Иван медленно встал. Панкрат Назаров, постаревший, забородатевший, в синей, подпоясанной шелковым шнурком рубаше, как-то вовсе не походил на председателя колхоза, скорее на какого-нибудь плотника или бондаря. Он снял плоскую фуражку, с которой посыпались опилки, повесил на гвоздь.

– С мельницы я. Глядел, как ладят... К осени пустим. – Прошел к столу, долго, не мигая, в упор, смотрел на Ивана зеленоватыми, в густой ряби морщин глазами. – Ну, приехал?

– Вернулся, – ответил Иван.

– Что ж, здравствуй.

– Здравствуй.

Назаров говорил как бы нехотя, через силу. От этого Ивану стало неприятно.

– Да ты садись, садись, Панкрат! – засуетилась Агата, подставила председателю тарелку, положила вилку с деревянной ручкой. – Вот, закусите, выпейте.

– Это можно, – проговорил Назаров, усаживаясь, – Ну, с возвращением!

Они выпили из мутных граненых рюмок. Панкрат закашлялся, кашлял, отвернувшись, долго, до слез в глазах. Агата подала ему полотенце, он вытер слезившиеся глаза.

– Пить тебе нельзя, – сказал Иван.

– Не надо, – согласился Панкрат. – Легкое гноится зачало. Пуля там колчаковская, язвы ее, долго ничего лежала, а потом зашевелилась. Доктора говорят – вырезать надо, легкое отнять. И Максимка, сын-то мой, – помнишь, нет его? – тоже пишет в письмах: делай, мол, операцию, медицина нынче силу взяла... Да страшно...

– А все равно надо, – промолвил Иван. – Как он, Максим твой?

– Ничего, служит под Львовом-городом. Нынче в капитанский чин возведен. Ты, Агата, ступай в пекарню, там хлеб бабенки засадили, как бы не подожгли. А мы потолкуем, – сказал Назаров.

Агата ушла, увела с собой дочку, но толковать председатель не начинал, сидел и смотрел на Ивана из-под насупленных бровей. И казался он Ивану незнакомым, неприветливым, подозрительным.

– Ты вот что скажи, Иван Силантыч, – медленно произнес Назаров, не отрывая от лица Савельева колючего взгляда. – Никому не говори, а мне скажи. С чем приехал? С обидой на жизнь, со злостью в душе?

Иван ответил не сразу.

– Не знаю, Панкрат. На жизнь мне радоваться пока нечего. А злобы вроде нет. Стоскался я. По земле, по родным запахам.

В зеленых глазах Панкрата дрогнули светлые точки.

– Про Федора, брата, что думаешь? Про Кирияна Инютина?

– Это-то и завыка. За что они меня посадили? – Иван помолчал. – Ну, это ладно. А вот на кого точно зла не держу – это сейчас твердо могу сказать... На Якова Алейникова.

– Гм... – Панкрат от неожиданности покашлял, недоверчиво прищурился. – Ну, так, ну, так... Объясняй тогда уж почему.

– Попробую, если получится... В лагерях я всякого насмотрелся. Может, кое-что мне оттуда виднее было, чем вам отсюда. Кого только не было там. Всякие большие и малые люди, военных много. Это что, все – вредители, враги народа?

– Эвон!.. А ты – зла не держу на Яшку... Так тем боле ответ с него!

– А ты вот послушай. Настоящих врагов Советской власти, конечно, много в лагерях. Вот я тебе о трех таких настоящих расскажу, с которыми довелось сидеть. Первый – Ерофей Кузьмич Огородников...

– Постой! Это не тот старик сапожник с нашего райпромкомбината? Я как-то сапоги у него справлял...

– Сапожник... Ты в банде у Кафтанова не служил, такого человека, по фамилии Косоротов, не знаешь. До революции он в надзирателях по тюрьмам состоял, потом у известного тебе колчаковского полковника Зубова в палачах. Говорят, редко-редко кто умирал у Косоротова, не развязав языка. Да я-то его хорошо знаю. Это уж много после он в Огородникова Ерофея Кузьмича перекрасился, в бобыля-сапожника, девчонку-сироту какую-то удочерил.

Панкрат от удивления хлопал глазами.

– А двое других – сын того полковника Зубова и наш... Макар Кафтанов.

– Макарка?! И с ним сидел?! Но погоди, он же вор-магазинник, по уголовной статье всегда судится.

– Да, судится по уголовной. Считает, видно: так мстить людям за то, что революция сковырнула их, Кафтановых, вроде и безопаснее. И Петька Зубов вроде бы вор. Когда посадят в тюрьму, им намного легче, чем мне, например, было... Погоди, ты слыхал ли когда про сына полковника Зубова?

– Что-то слыхал, будто при том полковнике сынишка был. И еще слыхал от кого-то, что ты, когда мы на Огневскую заимку тогда напали, сумел скрыться в суматохе с этим парнишкой. От Федора будто.

– Верно... Или от Алейникова с Анной – они раненные на полу валялись, могли видеть. Кафтанов потом мальчонку Зубова в тайгу отвез куда-то, Лукерья Кашкарова их вырастила с Макаром...

– Вона! – воскликнул Назаров. – Не зря, значит, Макар ей дом купил?

– Ты что, неужели куришь?

Панкрат скручивал папиросу.

– Нет, нельзя мне, – вздохнул Назаров, бросил самокрутку в кисет. – Так вот заверну, поверчу в пальцах, и вроде легче, будто покурил.

– Тянет, значит?

– Мочи нет. Все во сне вижу, как курю.

– А я отвык. Там табаку не было, и отвык. Ты это брось, не носи кисет-то. А то и не выдержишь когда-нибудь.

– И то – боюсь, – согласился Панкрат. – Да я спичек не ношу... Ну, так и что ты хотел сказать этим всем?

– А то и хотел. Вроде бы они и простые уголовники, да ишо чем-то пахнут. А чем – разберись! Не так-то просто. Но как бы там ни было, замели их, чтоб не воняли. И в данном разе не ошиблись, положим. Ну а я для Якова Алейникова чем-то на этих трех похожий. Может, и было у него сомнение – я ли, не я тех лошадей украл? Но на всякий случай подгрёб меня к той же куче. Потеря небольшая, не убудет...

Савельев прошелся по комнате, остановился у окна и, задумчиво глядя на улицу, промолвил:

– И думал я еще не раз: поставь меня на место Якова, как бы я поступил? Не знаю, не знаю...

– Э-э, нет, Иван, – после некоторого молчания качнул Назаров несогласно головой. – Ведерко воды из речки взять можно, не убудет. И два, и сотню... А ежели отводную канаву прорыть да другую, десятую? И помелеет речка, а то и совсем разберут ее. Не-ет, по-живому рубить кому позволено! Яшка, раз поставлен на это дело, разбираться должен.

Иван нервно усмехнулся.

– Должен... Должен бог всех в своей вере держать, а оно, вишь, безбожники из людей вырастают. Хотя все вроде молятся... Где уж Алейникову или кому другому на его месте всякий раз до тонкости разобраться, когда сами люди меж собой иногда распутаться не могут? Опять же, к примеру, нас возьми...

– Взял. И что?

– Ну, соображай. Я и Макар Кафтанов вроде родственники, поскольку родная Макарова сестра, Анна, замужем за моим родным братом Федором. С другой стороны, мы – лютые враги, поскольку я застрелил Макаркиного отца... Он, Макар, знает это. Увидел меня в лагере, подошел, улыбнулся. «Здравствуй, родимый. Батю-то вспоминаешь моего?» У меня мороз по коже, чую, что за улыбочка, к чему она. А сказать ничего не могу. «Ну, помолись тогда да послезавтра с утра одевайся в чистое, – выдохнул мне в ухо Макар. – Сам одевайся, а то покойников тут не обряжают. Только не думай, что за батю одного. Я выше кровной мести. Кишочки тебе выпустим, исходя в основном из теории Карла Маркса и товарища Ленина насчет борьбы классов...» Подумал, что я не понял, добавил: «За то, что к красным перекинулся, гад». И, посвистывая, отошел. Вот так, срок назначил. И я знаю, жить мне осталось сегодняшний да завтрашний день. Это уж точно. В лагере – там ведь свои законы. Что мне делать?

– Н-да... – покачал головой Панкрат.

– А делать было что, – продолжал Савельев, глядя куда-то в одну точку. – Мог я, попросту говоря, выкупить свою жизнь Федькиной головой.

Панкрат Назаров вопросительно вскинул спутанные, проволочные брови.

– Дело простое, – сказал Иван. – У Петьки Зубова тоже задача в жизни – найти и приколоть того человека, который его отца зарубил, Федора, значит...

– Во-он как?! – удивленно воскликнул Назаров.

– Да... «В лицо, – говорил мне Зубов, – до сих пор убийцу моего отца помню. Усики его черные помню. Помню, как он оскалил зубы и на меня пашкой замахнулся... – Федор же тогда чуть и мальчишку не срубил в гневе... – А дальше, говорит, ничего не помню». Ну а я ничего из того утра не забыл. Стоило мне сказать, кто отца его зарубил, Зубов бы али Косоротов этот самому Кафтанову головушку отвернули бы, если б он тронул меня. К тому же как-никак жизнью мне Петька Зубов обязанный. А что мне было не сказать? За что сiju, кто меня посадил? Он, Федька, братец мой... Жалеть мне его из какого резону? Да и сам Макар Кафтанов, может, отменил бы свой приговор. Анне он тоже не простил, что она за Федьку вышла, что в партизанах была. Рано или поздно придушу, говорит, сучку краснозадую.

– И что ж, не сказал? – осторожно спросил Панкрат. Он опять скручивал папиросу.

– Так вот и не сказал, – вздохнул Иван. – А теперь думай: я осужденный как враг народа, Макар по уголовной статье сидит, но этот уголовный тоже враг, и он хочет меня, врага, уничтожить, «исходя из теории насчет борьбы классов». Как нас Яшке Алейникову распутать, если мы сами не можем распутаться?

Долго молчал председатель, мял толстыми, негнущимися пальцами самокрутку, крошил ее обратно в кисет.

– Да, жизнь... – промолвил он наконец задумчиво. – Ну а все ж таки тоже любопытно мне, не осуди уж... Про Федора не сказал, то как же в живых остался?

– В карцер сел, – спокойно ответил Иван.

– Как в карцер?

– На другой же день не пошел на работу. Не пойду, говорю, и все. Старосту барака выматерил. Ну, меня живо в карцер на двадцать суток, в одиночку. А потом... Под счастливой все же я звездой родился. Пока сидел, Косоротов, Зубов и Макар побег совершили. Видно, случай подвернулся. Косоронова овчарки заели, а Макару с Зубовым удалось уйти. Из карцера я вышел, с полгода пугливо озирался: ежели Макар оставил кому свой приговор, все равно пристукнут. Нет, пронесло...

Председатель колхоза слушал, чуть склонив голову, пощипывал бороду.

– Н-нет, паря, – произнес он со вздохом, отвечая каким-то своим мыслям, – все ж таки я при своем остаюсь, не оправдываю Якова. Не должен в одну кучу он все сгребать. Не должен потому, что власть ему от народа большая дадена. Узлы всякие распутывать должен, добираться именно до истины – кто в самом деле молится, кто для вида рукой махает. А то что же

получается? Как по старинной пословице: должен поп ночью с попадьею лежать, а он монашку за алтарем тискает... С тобой-то ладно – накуролесил в жизни. А вот хотя бы этих троих за что – Баулина, Засухина Василия, Кошкина? Знаешь, что их тоже...

– Говорила счас Агата.

– Я же воевал с ими и после хорошо знал. Душевные люди, хотя не шибко грамотные. Да и все-то мы... Приедешь в район – со всякой болячкой к им, как к родным, идешь. Одно слово – своя власть, понимающая... Или вот нашего Аркашку Молчанова в пример возьми. Уж этот-то на глазах вырос, когда спать ложился или когда в сортир садился – все на виду. А тоже враг, вишь ты, оказался. Доселе сидит. Это как?

– Про тех троих не знаю. А Молчанов – по глупости, – сказал Иван.

– По чьей? – нахмурился Назаров.

– По своей, – ответил Савельев спокойно. – Когда меня крутили с этими лошадьми, Аркашку все допрашивали, стращали: зачем-де врешь, что Инютин цыганам лошадей свел, сколько, мол, Иван Савельев тебе за эту ложь дал, за сколько проданся?

– Откудова ж ты знал?

– При районной КПЗ я сидел, в камере предварительного заключения то есть. А в этой камере все известно. Черт его знает, как туда все слухи да известия доходят, а только доходят, все там обсуждается на сто рядов. Ну вот... Аркашка молчал-молчал да и брякнул: вы, ежели поставлены на это, так разбирайтесь по справедливости, а нечего заставлять невинных оговаривать... Ну, и прорвало его. Такие-сякие вы, дескать. Ты-то, Панкрат, знаешь, прорвет Аркашку раз в год – и вывалит он что надо и что не надо, все до кучи. Наговорил, в общем, лишнего вгорячах...

Панкрат Назаров выслушал все со вниманием. Когда Иван замолчал, опять отрицательно махнул головой:

– С ним – пуцай оно так. Только оно как-то не так... А?

Панкрат неотрывно смотрел на Савельева, ждал ответа.

– Ты все спрашиваешь, – сказал Иван с легкой грустью. – А я что тебе могу объяснить? Не того ума человек. Кружится жизнь, как сметана в маслобойке. Потом из сметаны масло получается.

– Как это понять?

– Ты думаешь, тот же Яшка Алейников не хочет добра, справедливости? – вместо ответа проговорил Иван.

– Ну?

– За что же он воевал тогда? Жизни не жалел, под пули лез? А жизнь-то, поди, тоже у него одна? И как всякому дорогая ему?

– Ну? – еще раз спросил Назаров.

– Туго справедливость людям поддается, вот что. Достигается трудно.

Панкрат еще посидел неподвижно, встал, тяжело разгибаясь, с удивлением увидел в кулаке кисет, сунул его в карман, усмехнулся.

– Чудно получилось... Я пришел пощупать: как ты, не озлился на людей ли? Вроде бы вразумить тебя пришел, поучить чему-то. А вышло наоборот как-то. Яшку вон оправдываешь.

– Зачем? Я его не оправдываю. Я сказал – зла на него не держу.

Распахнулась дверь, через порог шагнул парнишка лет тринадцати, невысокий, бледный, как Иван, с такими же серыми глазами, крутым лбом. Он был бос, в выгоревших, порыжелых, запыленных штанах, которые торчали на ногах трубами, в черной, мятой рубашке с расстегнутым воротом. В руках у него был кнут.

Перешагнув через порог, парнишка прижался к стене, испуганно и недоуменно переводя глаза со своего отца на председателя колхоза и обратно. На лбу у него выступили бисеринки пота. Савельев медленно качнулся к сыну:

– Вот ты как вырос... Володенька... Здравствуй, сынок!
Володька молча уткнулся лицом в отцовское плечо...

* * *

От прошедшей грозы не осталось и следа, земля жадно всосала дождевые лужи, лишь обмытые от пыли дома, деревья, травы выглядели посвежее, чем утром.

В Михайловке по-прежнему было пустынно и глухо. Под стенами домов лежали распаренные, с раскрытыми клювами куры, деревенские собаки забивались в тень и, обессиленно вывалив длинные розовые языки, часто и тяжело дышали.

Над Михайловкой, над Шантарой, над всей округой и, казалось, над всей землей лежала эта мертвая тишина, а в чистом небе яростно полыхало солнце. И никак нельзя было представить, что где-то в этот час нет ни тишины, ни чистого неба, ни солнца, что вся земля и небо завалены грохотом, воем, дымом, человеческим плачем, что уже несколько часов по земле идет война.

...Антон Савельев брел по Дрогобычскому шоссе. В руках у него болтался смятый пиджак, он часто вытирал им грязное, потное лицо. Солнце ныряло в жирных клубках дыма, но в редкие минуты оно выкатывалось на чистую поляну неба, и тогда Антон соображал, что время далеко за полдень.

В те редкие минуты, когда небо очищалось от дыма, Антон видел, как немецкие бомбардировщики стаями плывут и плывут на восток. Они летели теперь высоко, направляясь, видимо, в глубокий тыл, монотонно, как мухи, жужжали.

Где-то по сторонам шоссе глухо бухали зенитки, Антон видел белые ватные гроздья разрывов. Но зенитки почему-то не доставали до самолетов, не причиняли им никакого вреда. «А истребители? Где же наши истребители?!» – с нетерпением, с яростью думал Антон.

– «Ястребок»! Наш, глядите! И-16! И-16! Счас даст! Счас даст! – услышал он вдруг.

В небе сквозь дымные полотнища пронесся небольшой самолетик со звездами на крыльях. Движение на шоссе остановилось, задрав головы, люди смотрели вверх. «Ястребок», взыв, отчаянно кинулся в самую гущу немецких самолетов. Но тут же задохнулся, распустил за собой длинный хвост из кроваво-черного дыма и, косо прочертив небо, рухнул на землю недалеко от шоссе. Там, где он упал, глухо лопнуло что-то, земля чуть дрогнула. Люди, бросив повозки, побежали сквозь лес к упавшему самолету. А Савельев вдруг круто повернулся и зашагал назад, к Перемышлю.

Он брел по обочине. Навстречу ему, по левой стороне шоссе, шли и шли подводы и грузовики с узлами, чемоданами и просто кучей набросанного тряпья. На этом тряпье, на узлах сидели дети, женщины, старики. Мужчины шли пешком, катили перед собой ручные тележки с теми же узлами и чемоданами, многие тащили эти чемоданы в руках. Дети плакали, напуганные необычным столпотворением, просили есть, женщины обезумевшими глазами смотрели на все происходящее, крепко прижимали к себе детей, шоферы грузовиков яростно жали клаксоны, что-то кричали, высунувшись из кабин, прося, очевидно, передних двигаться быстрее. И все это тонуло в вое и грохоте металла, в густой пыли, в чадном бензиновом угаре, потому что по правой стороне шоссе, в сторону Перемышля, шли танки, бронетранспортеры, зеленые грузовики с красноармейцами, с ящиками, с мотками колючей проволоки.

Шоссе с правой стороны было давно изуродовано, в лапшу изрезано гусеницами, но танки, бронетранспортеры и грузовики не сбавляли скорости, из-под колес и гусениц летели камни и щебенка, засыпая беженцев.

Антону страшно хотелось пить. Но попросить у кого-то воды в этой суматохе было невозможно, да и была ли она, вода, у кого-нибудь? До Перемышля далеко, да и что там, в Перемышле? Может, уже немцы? И не пить он туда идет. А зачем?

Антон остановился, огляделся. Шоссе заворачивало чуть влево, на повороте военные машины, чтобы не подавить людей, сбавляли скорость. Не раздумывая, Савельев сошел с обочины, пробился сквозь людской поток, на ходу ухватился за борт какого-то грузовика.

– К-куда? – закричал сидящий в кузове молодой красноармеец и схватился за винтовку. – Пошел отсюда! Тут груз.

– Ты спокойно, сынок, – сказал Савельев. – Мне туда надо. В Перемышль.

– Слазь, сказано! Мы не в Перемышль, в другое место.

Лицо у красноармейца было круглое, чернявое, курносый нос торчал пуговкой. Несмотря на то что боец из всех сил старался изобразить суровость, это у него получалось плохо.

Грузовик прибавил ходу, понесся, подпираемый сзади тупым рылом бронетранспортера.

– Куда же я? Под гусеницы? Сдашь меня своему командиру, как приедем. Да опусти винтовку, не съем я твой груз.

– Прыгай! Застрелю! – хрипло крикнул красноармеец.

– А-а, стреляй, – сказал Антон и отвернулся.

Грузовик подбрасывало на рытвинах, выбитых за полдня колесами, на камнях, вывернутых из полотна непрочного шоссе железными гусеницами. Антон толкся на каких-то ящиках. «Хорошо еще, что фашисты дорогу не бомбят», – мелькнуло у него, и он содрогнулся, представив, что могло бы произойти, начни немцы бомбить шоссе.

Грузовик с каждой минутой приближался к утонувшему в дымах Перемышлю, и с каждой минутой все явственнее, все отчетливее слышалась оружейная канонада.

Вдруг грузовик свернул на проселок, помчался по хлюпкой, поросшей кустарником низине. Во многих местах кустарник был поломан, измят, как белые кости, белели ободранные стволы молоденьких деревьев. Савельев догадался, что здесь прошли танки, много танков.

– Куда мы едем?

– Молчи, гад! – вскинул винтовку боец.

– Я тебе не гад! – крикнул Савельев.

– А я откуда знаю? Сиди теперь!

Перед грузовиком, немного сбоку, вздыбилась неожиданно земля, комья забарабанили по крыше кабины, по ящикам. Перед тем как раздался взрыв, Антон увидел блеснувшую слева неширокую ленту реки и понял: этот участок дороги был хорошо виден из-за Сана. Справа, спереди и сзади еще трижды ухнуло. Грузовик, взревев, полетел вперед еще быстрее. Савельев схватился за тяжелый ящик обеими руками, обнял его.

Неожиданно машина въехала в лес, и грохот сразу прекратился. Савельев стряхнул с себя землю и произнес:

– Уф... Пристреляли, выходит, дорогу они...

– А ты как думал... Я тут третий раз сегодня проезжаю, – помягче сказал красноармеец.

Наконец грузовик остановился. Из-за деревьев выскочил молодой капитан-пехотинец, несколько красноармейцев.

– Кружилин! Доставил? Молодец! – прокричал капитан и повернулся к бойцам: – В пять минут разгрузить!

– У меня тут, товарищ капитан, посторонний, – сказал Кружилин, спрыгивая на землю. – Не сходя с машины, в плен кого-то взял. Заскочил на ходу в машину – в Перемышль, говорит, надо.

Капитан подошел к Антону, строго блеснул из-под фуражки с лакированным козырьком глазами.

– Кто такой? Фамилия?

– Я Савельев...

– Живее, живее разгружайте! – крикнул капитан бойцам. – Савельев? Ну, пойдете.

На опушке был вырыт глубокий окоп, из которого торчали рожки стереотрубы. Капитан нырнул в окоп, Савельев – за ним.

В окопе седоватый, с желтой плечиной человек со знаками различия полкового комиссара, выгнув горбом спину, кричал в телефонную трубку:

– Танки? Где обещанные танки?.. Что, не будет?.. Тогда нас сомнут – немцы наводят через Сан новую понтонную переправу... Почему молчит Некрасов?.. Пушки, говорю, почему молчат?.. Как нет снарядов? Тогда нас сомнут... Я без паники, я без паники. В полку осталось не больше двухсот человек... Держимся почти сутки. Какие патроны? Какие гранаты? Ничего нет...

– Кружилин доставил машину гранат и патронов, товарищ полковой комиссар, – сказал капитан.

– Да, пришел грузовик... Пехоту мы отобьем. Но если немцы переправят танки? Они обязательно переправят танки... Что?.. Есть, удержаться. Слушаюсь. Слушаюсь... – Полковой комиссар выпрямился и как-то по-домашнему, тихо и грустно, сказал, будто речь шла о каком-то пустяковом одолжении: – Ну что вы, Григорий Трофимович, мы, конечно, будем держаться... Да, да, спасибо... Да, да, до встречи.

Потом он долго и внимательно рассматривал документы Савельева – паспорт, партийный билет. Савельев рассказывал ему, как он очутился в Перемышле, почему-то с подробностями – как рухнула гостиница, в которой кричала женщина, как падал с неба советский истребитель.

– И мне стало стыдно, – закончил Савельев. – Почему я должен бежать? Я еще могу стрелять. Я не разучился...

– Да, да, – грустно подтвердил полковой комиссар, возвращая документы. – Вы извините, утром немцы сбросили в наши тылы большой парашютный десант в красноармейской форме и гражданской одежде...

Полковой комиссар говорил, потирая седые виски, на которых бились тугие жилки, думая о чем-то другом, неизмеримо далеко от Савельева, от тех слов, которые только что произнес. Капитан глядел в стереотрубу.

– Они уже заканчивают переправу, товарищ полковой комиссар!

– И все же, Антон Силантьевич, вам лучше бы уйти, – сказал полковой комиссар, подходя к стереотрубе. – Через четверть часа будет, вероятно, поздно.

– Я останусь... если можно.

Полковой комиссар ничего не успел ответить, потому что где-то за Саном глухо выстрелило орудие и тотчас за окопом, метрах в двадцати, стеной поднялась земля. Не успела земляная стена опасть, как за нею взметнулась, поднялась бесшумно новая, шире и выше прежней. И казалось, с вершины этой стены падают вниз сучья деревьев, какие-то жерди, скатилось что-то круглое, похожее на колесо автомашины. «Неужели снаряд угодил туда, на поляну, прямо в машину Кружилина? – с ужасом подумал Савельев. – А успели ее разгрузить или нет? Успели или нет?»

Полковой комиссар что-то кричал капитану, куда-то указывал, но из-за грохота слов было не разобрать. Потом они, забыв про Савельева, побежали по окопу. Антон постоял, не зная, что делать. Взгляд его упал на прислоненную к стенке окопа винтовку без штыка, он схватил ее и побежал вслед за ними.

Через несколько метров окоп стал мельче, потом раздвоился и вдруг – кончился. Савельев оказался на склоне голого холма, внизу перед глазами у него блеснул Сан, и он увидел ту переправу, о которой по телефону говорил полковой комиссар. На нашем берегу, у самой воды, догорало несколько немецких танков, подбитых, видимо, давно, зато с противоположной стороны реки, по переправе, ползли и ползли не торопясь десятки вражеских машин.

В Савельева откуда-то стреляли, он чувствовал, как горячие вихри обжигают ему шею, лицо, видел, как вокруг, взбивая пыль, колотятся в землю пули, но растерянно крутился, не

зная, что делать, побежал куда-то, инстинктивно заворачивая в сторону леса. Пули щелкали и щелкали вокруг. «Если добежу до леса, останусь, наверное, жив», – подумал он спокойно и, неожиданно провалившись ногой в пустоту, упал.

– Вот чудо-юдо заморское, – услышал он над ухом. – Ты откуда, дядя, взялся тут? Не с неба упал?

Антон понял, что находится опять в окопе, на дне его сидели на корточках несколько красноармейцев.

Окоп был небольшой, метров тридцать в длину, но хорошо замаскированный, поэтому, подбегая, Антон его не заметил.

– Я этого чудака привез, товарищ младший сержант, – раздался знакомый голос. – Еще подумал: не десантник ли фашистский?

– Кружилин! Машину-то... успели разгрузить?

– Почти, – мрачно ответил Кружилин.

Бойцов было человек восемь. В дальнем конце окопа лежали трое, прикрытые шинелями.

– Откуда в меня стреляли? – спросил Антон, потирая ушибленный бок.

– А вон на берегу немцы в песок зарылись. Мы их с утра держим. – Младший сержант зачем-то потрогал металлические треугольники на петлицах.

– Танки, братцы! – раздался испуганный вскрик.

– Тихо! – Младший сержант встал на колени, выглянул из окопа. – Ну, танки. Не видел ты их, что ли, сегодня? Сейчас их накроет некрасовская батарея.

«Не накроет уж, видно», – с грустью подумал Савельев.

Все бойцы, встав на корточки, молча и угрюмо глядели через бруствер, как с понтонной переправы один за другим сползают темно-зеленые танки с черно-белыми крестами и, разворачиваясь, с ревом устремляются влево и вправо. Танк вправо, танк влево, танк вправо, танк влево...

– Обойдут нас, – негромко сказал Кружилин.

– Как же вы позволили переправу им навести? – спросил Савельев.

И как бы в ответ засвистели над головой пули, потом донесся треск автоматных очередей. Этот свист и треск слился в один протяжный вой, красноармейцы прижались на дно окопа, и только двое все продолжали глядеть туда, откуда стреляли немцы. Потом медленно, как бы нехотя, сползли по стенкам окопа вниз.

– А-а, черт, говорил же – без нужды не высовываться! – выругался младший сержант. – Оттащите их к тем троим. – И сверкнул белками глаз на Савельева. – Попробуй не позволяй тут...

Небо густо застилали поднимающиеся где-то далеко клубы дыма. Антон догадался, это горит Перемышль. «А как же Львов? Бомбили немцы Львов или нет? И успел ли приехать Юрий?» – тревожно мелькнуло в сознании.

Неожиданно прекратились взрывы за спиной, перестали свистеть сверху пули. Младший сержант положил на бруствер винтовку и по-крестьянски поплевал на руки.

– Приготовиться!

Снизу, от реки, веером шли танки, четыре из них ползли прямо на окопчик. За танками густо бежали немцы, в касках, маленькие какие-то, коротконогие.

– Ого-онь! – закричал младший сержант.

Беспорядочный треск винтовок слился с отрывистым ревом немецких автоматов, воем танковых моторов и потонул в нем. Савельев дернул затвор, прицелился в темно-грязную фигуру бегущего немца и выстрелил. Немец сделал еще несколько шагов, споткнулся и, взмахнув руками, упал... Савельев удивился этому. «Ты гляди-ка... И правда, не разучился еще...»

Потом он стрелял и стрелял, пока затвор не клацнул вхолостую. Обернулся, искал взглядом, у кого бы спросить патронов. Глаза его встретились с потухающими глазами младшего сержанта.

– У меня... в подсумке возьми, дядя... – прошептал парень, съезжая по стене окопа вниз. На его губах при каждом слове вспухали и лопались кровавые пузыри.

– Сержант!.. Слышь, сынок?! – затряс его Антон, но парень закрыл глаза. Голова его тяжело откинулась в сторону.

Антон приподнялся. Танки были совсем близко. Оставив пехоту позади метрах в трехстах, они лезли на холм. По всему холму трещали выстрелы. Таких окопчиков, в каком находился Антон, на холме было, оказывается, много.

– Танки пропустить! Отрезать пехоту от танков! – крикнул знакомый капитан, спрыгивая в окоп. – А-а, это вы, Савельев... Не ушли? Прохоров! Сержант где?

– Вот, – сказал Кружилин, кивнув на труп. Капитан наклонился над убитым.

– Это был лучший боец в моем батальоне, – сказал он грустно. – А мой батальон – лучший в полку. – Помолчал и прибавил: – Первый и третий батальоны уже смяты, уничтожены. Многие красноармейцы не выдержали, дрогнули... А мои не побегут. Вы видели, чтобы мои бойцы... хоть один... побежал бы?

– Нет.

Над головой раздался железный лязг, через окоп, обдавая людей вонью и копотью, обваливая на них землю, перевалился танк. Капитан упал на труп бойца, словно хотел своим телом прикрыть его от гусениц.

– И не увидите, – сказал он, отряхиваясь от земли. И зачем-то спросил: – Может, ты, Кружилин, испугаешься и побежишь?

– Я не побегу, товарищ капитан, – хмуро сказал боец.

– Вот... А вообще-то... немцы слева и справа прорвались далеко вперед. Гранаты – к бою!

Савельев выглянул из окопчика и метрах в пятидесяти увидел немцев. Так близко он их видел впервые. В грязно-серых расстегнутых блузах, с засученными рукавами, в рыжих касках, они беспорядочной толпой бежали прямо на окоп.

– Грана-атами-и... – протяжно крикнул капитан над ухом.

У Савельева гранат не было, он, вдавив в магазин патроны, прицелился в широкоплечего немца. Целился и думал, что немец, вероятно, тоже видит его, вот и автомат вскинул в его сторону... Выстрелить Антон не успел, перед немцем брызнул земляной сноп. Савельев еще видел, как, переломившись назад и вбок, падал этот немец, а потом все закрыла стена гранатных разрывов.

– Отставить! – раздался голос капитана.

Выстрелы смолкли, дым и пыль впереди медленно рассеивались. Перед окопом на земле беспорядочно валялись немцы, но было видно, что это не трупы.

– Лупи, лупи их, ребята-а! – совсем не по-командирски закричал капитан. Голос его разнесся по всему холму. – Не давать им подняться! Бить прицельно!

По всему холму опять загремели винтовочные выстрелы. Немцы стали отползать.

...Усеяв склоны холма трупами, фашисты отползли почти к самому берегу реки, на свои старые позиции. Установилась тишина.

Капитан вытер правой рукой грязный лоб, огляделся.

– Все у нас живы?

– Почти, – откликнулся Кружилин и начал стаскивать в дальний угол окопа трупы бойцов.

В живых осталось, не считая капитана, Кружилина и его, Савельева, три человека. Левая рука капитана висела плетью, на плече расплзлось большое темное пятно.

– Так, – сказал он и, сжав бескровные губы, сел на дно окопа, прислонился головой к стене.

Кружилин сказал:

– Вы ранены, товарищ капитан, давайте перевяжу.

Капитан молчал.

– Сейчас они опять полезут, – проговорил Савельев.

– Подождут маленько, – усмехнулся капитан. – Зачем рисковать? Вот, послушайте, – кивнул он на стенку окопа.

Савельев прижал ухо к стене и уловил, что земля чуть подрагивает.

– Где-то далеко танки, кажется, идут.

– Нет, они уже близко. Они уже подходят к переправе.

Савельев приподнялся над окопчиками и увидел, что на той стороне Сана к понтонной переправе подходит новая колонна танков.

– Ну, а где же наши пушки? – простонал Кружилин, тоже глянувший в сторону реки. – Товарищ капитан, почему молчат наши пушки?

– Разве я артиллерией командую, Кружилин? – строго спросил капитан.

Боец опустил голову.

Потом все молчали, слушали, как гудят на той стороне Сана танки.

– Слушай, капитан, – проговорил наконец Савельев. – Надо что-то делать...

– Ну что? – равнодушно спросил капитан. – Отступить?

– Может быть...

– Так... – усмехнулся капитан. – А приказ был?

– Но ведь зазря люди гибнут, бессмысленно.

– Не знаю.

– Что не знаете?

– Бессмысленно или нет. Это командование дивизии знает.

Капитан застонал от боли в плече, закрыл глаза. Савельеву стало жалко этого человека, и в то же время он с неприязнью подумал о нем: «Солдафон, наверное, тупоголовый. Приказа об отступлении нет...»

Савельев заговорил об отступлении не из боязни за свою жизнь, о себе он сейчас вообще не думает. Просто обстановка, в которой они очутились, заставляла его думать трезво и рассуждать логически.

– Савельев, я вот что хотел спросить, – раздался вдруг голос капитана. – Иван Савельев, что жил в Сибири, в деревне Михайловке, это не ваш брат?

Антон удивленно, всем телом, обернулся к капитану. Но тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами. Грязный лоб его покрылся крупными каплями пота.

– Верно... брат. Младший...

– Вот видите. – Капитан открыл глаза. – А я вас сразу узнал... Такой же белобрысый Иван-то. А в Шантаре другой ваш брат живет, Федор. Тот чернявый.

– Верно... Да вы кто такой?

– А я – Назаров. Максим Панкратьевич Назаров. Из Михайловки я родом. Там, в Михайловке, отец мой, председатель тамошнего колхоза. Год назад я в отпуск к нему ездил... А служим вот вместе с земляком, с Кружилиным Василием.

– Постой, постой, это какой Кружилин? – Савельев нахмурился, потер лоб. – Кружилин, Кружилин? Фамилию вроде слышал... Нет, не помню. В Шантаре я, считай, мальцом последний раз был. Кажется, в девятьсот десятом году еще... Неужели я похож на Ваньку?

– Похож, – подтвердил Назаров. – Он, Иван, что же, не вернулся еще из тюрьмы?

– Не знаю, – сказал Савельев. – Что в тюрьме Иван, знаю. А вот за что? У старшего брата несколько раз спрашивал – не отвечает даже на письма. А жена Ивана – ей я тоже писал – одно твердит: невиновен Иван...

Давно уже был слышен шум моторов и лязг гусениц. Капитан шевельнулся, привстал, глянул через бруствер.

– Ползут. Еще жарче сейчас будет. Вы, Савельев, сейчас еще можете уйти... А мы не имеем права. Вы ведь, кажется, ехали с Кружилиным по Дрогобычскому шоссе, видели, что там делается? Наша задача – задержать немцев как можно дольше, чтобы дать людям возможность отойти от Перемышля подальше. В этом – весь смысл. Другого нет. Там женщины и дети...

У Савельева перехватило в горле. Он глотнул тугой ком слюны.

– Я понял... Я останусь. Куда мне идти...

– Дело ваше, – холодно сказал Назаров. – Кружилин, ты тут за старшего будешь. Танки, как и в первый раз, пропустить, отрезать пехоту... Если что, я на батальонном КП...

И выскочил из окопа, не обращая внимания на свист автоматных очередей, побежал вдоль холма, придерживая здоровой рукой фуражку...

По команде Кружилина бойцы приготовили гранаты.

– А ты, батя, умеешь? – спросил Кружилин, протягивая гранату и Антону.

– Приходилось. Только больше самодельными.

– Дело простое: вот так выдерни чеку – и швыряй!

Но воспользоваться гранатами на этот раз не пришлось. Танки заползли на холм и с остервенелым ревом принялись сновать взад и вперед по его плоской макушке, крутиться на месте, распахивая неглубокие окопчики, размалывая в них людей. Огромная лязгающая машина, закрывая дымное небо, приближалась и к окопу, в котором был Савельев.

– Ложи-ись! – почти беззвучно закричал Кружилин, широко раскрыв рот. Где-то сбоку раздавались взрывы, беспорядочная винтовочная трескотня.

Антон обернулся и увидел – между двумя соседними траншеями ворочается черная железная машина, а красноармейцы из окопов швыряют и швыряют в нее ручные гранаты, бьют из винтовок, целясь, видимо, в смотровые щели. Но танк был неуязвим, гранаты отскакивали от брони и рвались вокруг.

– Да ложись же! – рявкнул Кружилин в самое ухо, дернул его за пиджак.

Антон повалился и, падая уже, увидел, что танк выбросил султан кроваво-черного дыма и тут же вспыхнул костром. «Ага, ага!..» – злорадно почти вслух выкрикнул Савельев. Еще он увидел на миг светлую ленту Сана, и немцев, которые беспорядочными кучками взбирались на холм, и плоское, грязное днище танка над головой. Оно пиялилось куда-то вверх, потом упало на окоп тяжелой многотонной крышкой. «Ну, сейчас мы вас встретим...» – подумал Савельев о немцах, сжимая гранату. Он упал неудачно, подвернув под себя руку. Граната больно давила в ребро. «Ничего, сейчас, сейчас...» – стиснул он зубы, пересиливая боль. Но сверху, на спину ему, обвалилась земля, засыпала с головой. Сразу стало нечем дышать, совсем нечем... Перед глазами в черной непроницаемой мгле вспухли оранжево-зеленые круги и со звоном лопнули, брызнули во все стороны белыми-белыми искрами...

* * *

Антон очнулся оттого, что кто-то пытался вывернуть ему руку. Он застонал.

– Ага, живой... Тихо только! Тихо, – услышал он сквозь звон в голове и почувствовал, как сваливается с него тяжесть. – Вылезайте...

Василий Кружилин наполовину откопал Савельева, взял его за плечи, кое-как вытащил из-под земли. Антон сел, тяжело и жадно стал вдыхать теплый ночной воздух, пропитанный запахом пороха, бензина и горелой краски.

– Это ты, сынок? А еще есть живые?

Боец не ответил. Он сидел в двух шагах, рассматривал немецкий автомат, пытаясь вставить в него рожок.

На противоположной стороне Сана горели костры, мелькали между деревьев огоньки. У Савельева сильно болел бок, он засунул под рубаху грязные пальцы, пощупал ребра, пытаясь определить, целые ли они. Но определить не мог.

– А-а, черт, темно! – с досадой сказал Кружилин. – Как он, дьявол, вставляется?

Было тихо, совсем не верилось, что недавно здесь кипел бой. Неподалеку в полутьме чернела бесформенная глыба – наверно, тот танк, который все же удалось подбить гранатами. В небе, видимо, все еще стлались дымы, потому что там то вспыхивали, то исчезали россыпи звезд. А может, ветер гонял клочья облаков – понять было нельзя.

Боль в боку поутихла, притупилась, и Антон подумал, что ребра его все же целые, наверно.

– Что ж теперь делать нам, сынок? Надо ведь что-то делать.

– А что нам, холостым! – усмехнулся Кружилин. – Сейчас в Перемышль зайдём, тяпнем в забегаловке грамм по полтора для лихости да к бабам завалимся. Шикарная у меня деваха есть в Перемышле... А у ней подруга – ух! И все просила меня товарища привести, познакомиться. Вы как, папаша, насчет женсостава-то? В силе еще?

Кружилин пошловато хохотнул, но странно – этот хохоток и слова парня не рассердили Антона, не обидели, а заставили улыбнуться. Антон подумал, что Кружилин совсем не пошляк, просто в нем не перебродила еще молодая кровь и он любит жизнь. И очень хорошо, что он, Кружилин, пережил сегодняшний день, остался цел в этой мясорубке и вообще теперь останется живой. Через неделю, через две в крайнем случае, немцев отбросят обратно за Сан, Кружилин снова будет ходить в Перемышль, к своей «шикарной девахе», а на этом холме поставят памятник погибшим в сегодняшнем бою. Простой деревянный обелиск, наверно, со звездой наверху. Надо будет потом специально приехать сюда, поглядеть на памятник. Василий все возился с автоматом, щелкнул какой-то пружиной.

– Ага, вон какая музыка, – сказал он удовлетворенно и встал. – Ну, пошли, папаша. Винтовку вот возьмите.

Кружилин был тоже оборванный, один рукав гимнастерки обгорел, а на щеке засохли полосы крови. Все это Антон разглядел, когда на минуту вывалилась из-за дыма (все-таки это были дымы) луна и облила искореженную землю бледно-молочным светом.

– Ты ранен, сынок? – спросил Савельев.

– Пустяки. Гусеницей скребануло. На пяток сантиметров бы правее – и мокрое место вместо головы. А так кожу только царапнуло да клочок волос выдрало. Я – счастливый.

Боец пошел впереди, шел быстро, уверенно, – наверно, он знал, куда идти.

– Лелька так и говорит: «Счастливый ты, Вась». Я спрашиваю: «Почему?» – «А потому что, говорит, я люблю тебя...» – Кружилин обернулся, подождал, пока подойдет Савельев, и сообщил строго: – А вообще-то мы пожениться договорились. Вот отслужу действительную – мне три месяца осталось – и сразу увезу ее в Шантару. В армию-то я из Ойротии уходил, там отец мой работал. А сейчас его опять в Шантару перевели. Приеду – и сразу свадьбу. А, здорово?

– Куда мы идем?

– Да, счастливый я, – продолжал Василий, усмехаясь. – Что тут было! Танки перепахали окопы, ушли, как только ихняя пехота вскарабкалась на высоту. Забегали, загалдели, стрельбу подняли. Добивали тех, кто еще живой. Я лежу, приваленный землей, одна голова наружи. Почему они меня не пристрелили? Потому, наверно, что морда вся в крови, думали, мертвый. А некоторых с земли повыдергивали, согнали в кучу. Кто мог идти, угнали куда-то, остальных очередями прошили. Все мне видно. Потом все ушли. Я мог бы засветло уползти, да через

понтонный мост все шли и шли колонны ихних войск, автомобили, тягачи с пушками. Замечали меня с моста бы...

Он говорил и говорил не останавливаясь. Савельеву теперь неприятен был его голос. Радует, что в счастливой рубашке родился, ишь расписывает как все радостно. И он невольно замедлил шаг. Кружилин через полминуты опять остановился. И когда Савельев подошел, парень вдруг качнулся, окровавленной головой уткнулся ему в грудь.

– Ты что, Кружилин?! Вася?!

– Я все видел, все видел... – не отрывая головы, сквозь рыдания проговорил Василий. – У танков гусеницы в крови, броня чуть не до башни кровью обрызгана... А за некоторыми кишки волочились... как мокрые веревки. Как же это, а? Как это случилось? Зачем, а?!

Парень рыдал, по-детски всхлипывая. Савельев, изумленный, ничего не мог сказать, только гладил красноармейца по плечам, по грязным, в засохшей крови, волосам.

– Ничего... ничего, сынок... Все будет хорошо. – Подумал и прибавил: – А ты, конечно, женись на этой Лельке. Обязательно, слышишь?

Василий молча оторвался от его груди, сгорбившись, быстро пошел к темной стене леса, почти побежал. Савельев тоже заторопился, боясь отстать, потерять его в темноте.

Он догнал бойца на опушке. Парень сидел на корточках перед каким-то человеком, лежавшим навзничь. Савельев нагнулся и узнал капитана Назарова.

– Вот... – ткнул кулаком Василий в сторону Савельева. – Папаша этот, что в машину ко мне заскочил. А больше никого...

– Ты, Кружилин, хорошо проверил? – Назаров тяжело, с хрипом, дышал, глаза его, кажется, были закрыты.

– Я весь бугор излазил, каждый труп в руках подержал. Нету больше живых.

– Хорошо, Кружилин. Молодец ты, Вася. Спасибо тебе... Только зря ты со мной возишься...

– Что вы, товарищ капитан! Вы еще на свадьбе у меня... обязательно должны...

– Пить... что-нибудь есть?

– Нету воды, товарищ капитан. Хотя, постойте. Там немец с фляжкой лежал...

Кружилин исчез в темноте. Назаров дышал все так же шумно и тяжело. Савельев сидел рядом, сжимая между колен винтовку. Никаких мыслей в голове почему-то не было. И радости оттого, что жив, что Кружилин раскопал и вытащил его, тоже не было.

– Вы, Савельев, как, целы? – спросил Назаров.

– Сам не пойму... В голове все шумит. А так...

– Если выберетесь, скажите моему отцу, напишите, что... В общем – сами знаете. Сами все видели, что мы могли, что не могли... А Кружилин зря меня сюда выволок. Ноги у меня перебиты. Обе. И плечо. И грудь.

Вывернулся из темноты Кружилин, присел возле капитана, начал пить из фляжки. Потом сказал:

– Надо в лес нам. Поглубже. А там видно будет. Должны же где-то быть наши. Слышите, товарищ капитан!

– Я слышу, Кружилин. Вы идите. Оставьте меня здесь. Это – мое приказание. Ясно?

– Куда яснее, – усмехнулся Василий.

Было, видимо, за полночь, в воздухе посвежело, потянул ветерок, относя куда-то за Сан запах сгоревшего тола, бензиновую вонь. Верхушки деревьев угрюмо шумели.

И этот же ветерок донес гул далекой канонады. Савельев почувствовал, что бледнеет, что в сердце начал проникать неприятный озноб. Кружилин стоял рядом, как столб, не шелохнувшись, даже капитан стал тише дышать – все прислушивались к этому далекому, неясному гулу.

– Это что же, а? Это куда же они прорвались, а? На сколько же километров?.. – растерянно произнес Кружилин. Он говорил как раз о том, о чем думал, бледнея, Савельев.

– Это за Днестром... Это, наверное, наш аэродром они бомбят, – негромко произнес Назаров. – Под Дрогобычем есть аэродром... Не могли они... так далеко прорваться...

Даже Савельев понимал, что Назаров говорит это для успокоения, что это не бомбы рвутся, это артиллерийская канонада.

– Ну ладно, – решительно встал Василий и протянул автомат Савельеву. – Пошли, а то скоро рассвет.

– Я приказываю тебе, Кружилин... не трогать меня! Идите...

Не обращая внимания на слова, на стоны Назарова, боец приподнял его с земли, посадил. Потом присел сам, ловко взвалил капитана на плечи, выпрямился, постоял, будто пробуя тяжесть, и, пошатываясь, двинулся в лес.

...До самого рассвета они шли по лесным тропинкам, стараясь держаться в сторону Львова, по очереди несли тяжелое, обмякшее тело капитана. Сперва Назаров все стонал, потом перестал, не подавал признаков жизни. Шли молча, только один раз Савельев спросил, принимая на свои плечи Назарова:

– Он живой ли?

– Теплый пока, – ответил Василий, часто дыша широко открытым ртом. У Антона под тяжестью тела подламывались ноги, сперва он думал, что не сумеет сделать и шага, упадет и уронит раненого, но, к своему удивлению, шел и шел вперед. Иногда запинался о кочки, ноги путались в траве. Но он шел, боясь упасть и зная, что не упадет.

Было по-прежнему темно и тихо, и было непонятно, куда и зачем они идут и был ли вчерашний кошмарный день или все это привиделось в тяжелом сне, в каком-то бреду. Антону казалось, прольется рассвет – и все встанет на свои места, он вернется в Перемышль, с утра сходит в парикмахерскую, и тот старый парикмахер ладонью намылит ему щеки и, что-нибудь рассказывая, начнет стремительно махать перед глазами бритвой. Потом пойдет на кирпичный завод и будет ругаться с директором. Затем позвонит домой, во Львов, поговорит с приехавшим сыном, сообщит жене, что задерживается еще на несколько дней, потому что директор кирпичного завода никак не хочет давать ему кирпичи. «А почему, я думаю, не хочет? Может быть, он сразу распорядится об отгрузке... И тогда сегодня же вечером я сяду на львовский поезд...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.